

Трудна любовь. Николай Корнеевич Чуковский chukovskiynikolai.ru  
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке  
<http://chukovskiynikolai.ru/> Приятного чтения!

Трудна любовь. Николай Корнеевич Чуковский

1

– Опять карты! – сказал политрук Чирков и поморщился. – Терпеть не могу карт!

– Как хотите, – проговорил капитан Гожев примирительно. – Бывает, без карт не обойдешься. Если, например, сидишь в такой яме.

– Каждый вечер играть в дурака! – продолжал Чирков раздраженно. – Поневоле дураком сделаешься.

Кто-то сидевший в темном углу и потому невидимый тихонько кашлянул:

– Кхе-кхе...

– Мы играем вовсе не каждый вечер, и греха в игре нет, – сказал Гожев рассудительно. – Это вы несерьезно. Но если в дурака надоело – не надо. Попросим Елену Андреевну погадать нам на картах.

– Уже всем все нагадано, – сказал Чирков.

Крохотная электрическая лампочка, прикрытая бумажным колпачком, освещала только середину стола. В этом светлом круге на столе двигались пальцы двух маленьких женских рук, торчавших из слишком длинных рукавов черной краснофлотской шинели; они без конца однообразным механическим движением тасовали карты. Политрука Чиркова раздражали, кажется, не столько карты, сколько эти руки.

– Вовсе не всем все нагадано, – возразил Гожев мягко. – Вот товарищ интендант третьего ранга. Он новый у нас человек. Ему еще не гадали.

И посмотрел на Криницкого.

Криницкий почувствовал, что все на него смотрят и ждут ответа, хочет ли он, чтобы ему погадали. А ему между тем было это до того безразлично, что он решительно ничего не мог сказать. Он был все еще ошеломлен стремительным перелетом через Финский залив, посадкой на темном незнакомом аэродроме, где вокруг загадочно гремело и выло, и внезапным своим появлением в этой странной избе, глубоко врытой в землю, среди незнакомых людей, которых он видел в первый раз.

Прошло еще не больше двадцати минут с тех пор, как пропагандист полка политрук Чирков встретил Криницкого на аэродроме и привел в эту землянку. Грохот рвущихся снарядов, сливаясь в почти непрерывный вой, доносился и сюда, но приглушенно. Да если бы Криницкий и не был только что с самолета, он все равно не мог бы заинтересоваться никаким гаданием, потому что та жестокая душевная боль, которая мучила его уже несколько дней и которую он должен был от всех скрывать, делала его безучастным ко всему, что он видел вокруг.

– Ну, что на картах можно нагадать товарищу интенданту? – продолжал Чирков настойчиво, но несколько сдерживая свое раздражение из уважения к гостю. – Опять «казенный дом», опять «дорога». Как будто это и без гадания не ясно. Раз человек на военной службе – значит, он живет в казенном доме, раз человек в командировке – значит, ему предстоит дорога...

– Действительно, Петр Иваныч прав, карты надоели, – сказала женщина мягко, и руки ее опустили колоду на стол; и Криницкий впервые услышал ее голос – спокойный, ровный, удивительно ясный. – Я нашему гостю и без карт погадаю.

– Кхе-кхе... – раздалось в темном углу.

– Как же так? – спросил Гожев. – По руке, что ли?

– Нет. – Сказала она. – По лицу.

Она слегка нагнулась вперед над столом, взглядываясь в лицо Криницкого, и свет  
Страница 1

Трудна любовь. Николай Корнеевич Чуковский [chukovskiynikolai.ru](http://chukovskiynikolai.ru) озарил ее всю. Старая, потрепанная шинель была слишком велика для нее и неуклюже топорщилась; она тонула в своей шинели. Тонкое живое лицо ее, внезапно освещенное, находилось в резком противоречии и с этой шинелью, и с узенькими старшинскими полосками на рукавах, и со всей этой темной, сырой и мрачной землянкой.

Совсем молодое лицо. Без румянца. С той ровной бледностью, которая появляется у тех, кто редко бывает на воздухе. Слегка запавшие щеки, тонкий, прямой нос почти без переносицы, чистый лоб, крупный упрямый рот. И два серых глаза, серьезно и сочувственно смотрящих Криницкому в лицо.

- Простите, как ваше имя-отчество? – спросила она.
- Николай Николаевич, – ответил Криницкий. – Интендант третьего ранга Николай Николаевич Кривошеин.
- Но ведь вы – Криницкий.
- Как же, – сказал Гожев, – в нашей газете мы всегда читаем ваши заметки.
- Лет пятнадцать назад, когда я начал работать в газетах, мне казалось, что Криницкий гораздо красивее, чем Кривошеин. А потом привык.
- Ведь вы сами вызвались лететь к нам на аэродром, – сказала она. – Вас никто не посыпал.
- Вызвался? – удивился Криницкий. – Пожалуй, верно, сам вызвался. Я пошел к редактору и попросил. Он поколебался и позволил... Как вы узнали?
- Просто так. Мне подумалось, – сказала она. – Для работников военной авиационной газеты у нас на аэродроме ничего интересного нет. Газете нужны летчики, а летчиков мы тут почти не видим. Прилетят, сядут, заправятся минут за десять, пока немцы не успели поджечь самолеты на земле, и улетят. Ничего тут, кроме обстрелов, нету...
- Да, немцы бьют по нас здорово, – сказал Гожев. – Пристрелялись за год. Ползком живем.

Криницкий все это знал. Аэродром лежал на том отрезанном от всего мира участке южного берега Финского залива, который мы и теперь, через год после того как немцы окружили Ленинград, продолжали удерживать в своих руках. Могучие орудия кронштадтских фортов не дали здесь немцам выйти на самое побережье. Участок этот был настолько невелик, что немецкая артиллерия простреливала его насквозь. И аэродром, расположенный всего в нескольких километрах от передовой, под немецким огнем, не мог служить базой для наших самолетов. На него иногда садились только наши истребители из полков, стоявших, на северном берегу Финского залива и в Кронштадте; они торопливо заправлялись горючим и летели дальше, сопровождая бомбардировщики, у которых запас горючего был гораздо больше. Представитель авиационной газеты вряд ли мог найти здесь что-нибудь ценное, разве кой-какой материал для мелких заметок. И уж во всяком случае не было здесь материала для тех больших, обстоятельных очерков о боевых действиях нашей авиации, которые Криницкий время от времени посыпал в Москву, в центральные газеты, и успех которых еще неделю назад так волновал его.

- Тут немало таких, – сказала она.
- Каких? – спросил Криницкий.
- Вызвавшихся. Которые сами напросились.
- Почему? – спросил Криницкий.
- Разве вы не знаете, что у людей иногда так поворачивается судьба, что хочется зарыться головой в землю, уйти в такое место, где нет ничего, кроме обстрела, темноты и работы?
- Знаю, – сказал Криницкий.

Трудна любовь. Николай Корнеевич Чуковский chukovskiynikolai.ru  
Он сказал «знаю», и у него перехватило дыхание, потому что он выдал себя. За всю эту неделю ни один человек не догадался о том, что с ним творится. Даже тот его товарищ по редакции, который, ничего не подозревая, показал ему письма... Те письма, из которых Криницкий все узнал... Он испуганно глянул на Гожева и Чиркова, чтобы определить по их лицам, догадались ли они.

– У кого не бывает служебных неприятностей, – сказал Гожев мирно. – Только у того, кто не служит.

– Бывают и другие неприятности, не служебные, – мягко возразила Елена Андреевна.

Криницкий глядел на нее почти с испугом. Неужели она что-нибудь знает о его тайном несчастье? Откуда?

– Сколько бед иногда происходит оттого, что мы не умеем доверять людям, – негромко проговорила она вдруг, словно думая вслух.

– Как? Как вы сказали? – спросил Криницкий, поражаясь и волнуясь все больше.

– Людям не умеем доверять, – повторила она. – И оттого мучаем и мучаемся.

– Нет, позвольте, позвольте, – торопливо перебил ее Криницкий, совсем забываясь от волнения. – Что значит – не умеем? Разве все достойны доверия?

Но тут далеко, в конце длинного наклонного прохода, связывавшего эту врытую в землю избу с поверхностью, стукнула наружная дверь, и все повернули головы, прислушиваясь.

2

Когда далекая наружная дверь распахнулась, гул взрывов сразу стал громче. Потом дверь захлопнулась и раздались тяжелые шаги, гремевшие по дощатому настилу наклонного прохода.

Елена Андреевна поспешила встать. Она оказалась среднего роста, даже скорее маленькая. Ноги ее тонули в громоздких, неуклюжих кирзовых сапогах. Топорщившаяся шинель сидела на ней, как большой мешок. Но движения у нее были легкие. Она бесшумно скользнула в сторону от стола, от света, и сразу стала почти невидимой, так как большая часть землянки была погружена во тьму.

А между тем гремящие шаги приближались. Дверь открылась, и вошел крупный мужчина в мокром кожаном реглане.

Ему пришлось нагнуться, чтобы не стукнуться лбом о притолоку. Войдя, он остановился и зажмурился от света. Он жмурился, а все его молодое, широкое, румяное лицо расплывалось в улыбке. Он казался почти толстяком – плечистый, широкий в кости, добродушный, здоровый. Черты лица у него тоже были крупные, особенно нос, бесформенный и мясистый. Капельки дождя блестели в его густых, черных бровях, и теперь, когда он улыбался, на его левой щеке ясно была заметна ямочка.

– А, Григорий Осипович! – сказал капитан Гожев. – Что ты поздно сегодня?

– Правую рефугу – в щепки. Прямое попадание, сволочь. Я поставил туда плотников.

– А как ремонт? – спросил Гожев.

– Идет. Там сейчас Сидоров мотор налаживает. Я посплю часа четыре, потом пойду к нему, и мы мотор поставим. К утру будет как игрушка... Люблю спать, когда время есть! Могу спать при любых обстоятельствах.

– Это признак здоровья, – сказал Гожев.

– Не жалуюсь.

Он говорил быстро и громко, все еще оживленный работой, от которой только что оторвался. Говоря, он скинул с себя реглан и бросил его на свою койку, несомненно собираясь укрыться им. Повернувшись, он внезапно заметил Криницкого и уставился на него.

— А у нас гость, — сказал Гожев. — Что же ты не здороваешься, Гриша? Вот. Журналист. Из газеты.

Криницкий привстал и пожал большую руку с широкой ладонью.

— Кривошеин.

— Завойко. Инженер по ремонту. Из Ленинграда? Прилетели? Я видел, как садился «У-2». В столовой уже были?

— Я предлагал зайти в столовую, хотя ужин уже кончился, — сказал Гожев. — Но товарищ интендант не захотел, говорит — ужинал перед вылетом. Мы с Чирковым привели его к нам, потому что койка Терехина свободна, Терехин сегодня ночует в Кронштадте.

— Вот теперь вы нам все расскажете, — сказал Завойко. — А то мы сидим здесь безвыходно и ничего, кроме грязи да елок, не видим. Как там в Ленинграде сейчас с продовольствием?

Он присел на свою койку, чтобы стянуть с себя сапоги, и только тут внезапно увидел Елену Андреевну.

Он вскочил. Опять сел. Опять вскочил. Большое лицо его быстро бледнело.

— Кхе-кхе... — донеслось из угла.

Завойко хотел что-то сказать, но не мог совладать с дыханием. Выражение его глаз, казавшихся совсем темными на побледневшем лице, менялось с удивительной быстротой, переходя от восторга к тревоге, к испугу и опять к восторгу.

— Я не знал, что вы здесь... — выговорил он наконец сдавленным голосом.

— Да, я здесь и сейчас ухожу, — сказала Елена Андреевна сухо.

— Уже! — воскликнул он с откровенным отчаянием.

Он глянул в лица мужчин: не поддержит ли его кто-нибудь, не уговорит ли остаться? Но никто не пришел ему на помощь. Один только капитан Гожев сказал неуверенно:

— Еще час ранний...

— Мне пора, — ответила она все так же сухо и двинулась к двери. — Вы спать хотели. Зачем вам мешать? Не собираюсь.

— Я вовсе не хочу спать! — воскликнул Завойко пылко. — Я не буду спать! Я пойду вас проводить!

И он стал торопливо накидывать на себя свой кожаный реглан.

— Нет, вы не пойдете меня провожать, — сказала она твердо. — Вы будете спать. Вы можете спать при любых обстоятельствах. Это признак здоровья.

Лицо Завойко из белого стало малиновым — такая явная насмешка была в ее словах. Он попятился и снова сел на свою койку, озираясь с беспомощным и несчастным видом.

— Меня проводит старший лейтенант Устинович, — продолжала Елена Андреевна.

Она повернулась к тому темному углу, где сидел человек, изредка произносивший «кхе-кхе», и проговорила совсем другим голосом — мягким, ласковым, каким разговаривают с больными детьми:

— Сергей Филиппыч, ведь вам сейчас на дежурство, нам почти по дороге...

Старший лейтенант Устинович, сидевший в темном углу, опять сказал только «кхе-кхе», но мгновенно поднялся и вышел на свет. Криницкий впервые увидел его.

Трудна любовь. Николай Корнеевич Чуковский chukovskiynikolai.ru  
Это был очень еще молодой человек, среднего роста, узкоплечий, хилого сложения, белокурый, в очках, с изможденным, нездоровым лицом. На его желтоватых впалых щеках дрожали два пятнышка румянца, появившиеся, по-видимому, от волнения. Он снял свою шинель с гвоздя на стене и стал торопливо надевать ее, не попадая в рукава.

Елена Андреевна повернулась к Гожеву, выпрямилась, сдвинула каблуки кирзовых сапог.

– Разрешите идти, товарищ капитан?

Гожев кивнул.

Она уже открыла дверь, но вдруг обернулась и взглянула на Чиркова.

– А уж вы, товарищ политрук, ни за что не пошли бы меня проводить, я знаю, – сказала она.

– Разумеется, не пойду, – ответил Чирков.

– Вы принципиально женщин не провожаете или только потому, что я ниже вас по званию? – спросила она.

– Нет, я вас не провожаю потому, что вы – это вы, – ответил Чирков.

Услышав этот презрительный, полный откровенной вражды ответ, она опустила голову и сказала беззлобно, с огорчением:

– Как это все грустно...

И вышла, сопровождаемая Устиновичем.

3

На аэродроме действительно жили «ползком», как говорил Гожев.

Немцы обстреливали аэродром всякий раз, когда на него садился самолет. И когда самолет с него взлетал. И когда на ближних участках фронта что-нибудь происходило. И когда только опасались, что может что-нибудь произойти. И просто по часам – на рассвете, в обед, на закате. Иногда в полночь, иногда позже. И, уж начав бить, били долго, упрямо, заново и заново перемешивая взрывами песок, дерн, хвою, бревна, камни, сучья, сосновые шишки.

Летное поле было устроено прошлой осенью на бывшем выгоне деревни. Жители деревни давно разбежались, а избы их врыли глубоко в землю, превратив в землянки. Все это изобрел Гожев: возле каждой избы вырыли яму, потом в яму по наклонному деревянному настилу скатили избу, целиком, со всем, что в ней было, – с русской печью, полатями, лавками, полами; потом покрыли избу пятью накатами бревен и засыпали сверху песком.

И деревня теперь снаружи казалась двумя рядами низких песчаных бугорков, над которыми в холодные дни вились столбики дыма. Внутри, в избах, все оставалось по-прежнему: возле печей стояли ухваты и горшки, в углу висели иконы, на стенах – семейные фотографии, и только заколоченные досками окна напоминали, что кругом земля. В этой вечной подземной тьме вот уже год шла почти вся жизнь тех, кто служил на аэродроме.

Здесь, под Ленинградом, да и всюду на севере линии фронтов установились еще прошлой осенью и с тех пор почти не менялись. В минувшее лето – второе лето войны – главные битвы перекинулись на юг, на Украину, к Дону. До тех мест отсюда были тысячи километров, и сведения о том, что там совершалось, доходили скучно и кратко. Но основное знали: там в тяжелейших боях наши войска продолжали отходить, оставляли город за городом, и вот уже вся Украина захвачена немцами, и Дон перейден, и битва кипит уже возле самой Волги, под Сталинградом, где происходит что-то пока еще не совсем ясное, но чрезвычайно важное. И служившие на аэродроме следили за всем, что совершалось там, с напряженным вниманием; исполнская трагедия войны, распадавшаяся для миллионов отдельных людей еще и на миллионы отдельных трагедий, поглощала все их душевые силы. Но говорили между собой об этом они довольно мало. Они наверняка знали, что неизбежно придет и их

Трудна любовь. Николай Корнеевич Чуковский chukovskiynikolai.ru час, что великая битва перекинется и сюда, и были готовы к этому часу. А тем временем их жизнь, твердо сложившаяся за год, была до предела занята ежедневным тяжелым трудом: выравниванием летного поля, которое каждый день заново перепахивали снаряды, закапыванием в землю запасов горючего, заправкой и ремонтом самолетов – постоянным ремонтом, потому что наши самолеты, поврежденные в боях над захваченной врагом территорией, чаще всего садились именно на их аэродром как самый близкий к линии фронта.

И люди здесь работали так же, как и жили, – «ползком», чтобы осколки снарядов перескакивали через спины. И после почти каждого артиллерийского налета по аэродрому расползлась весть о чьей-нибудь смерти.

Знакомство с этой жизнью Криницкий начал в той зарытой в землю избе, где его случайно поселили. Соседом Криницкого по койке оказался капитан Гожев, и невольно он прежде всего приглядился к Гожеву.

Капитан Гожев занимал должность заместителя начальника штаба полка, но штаб его находился далеко, на другой стороне финского залива, и он связывался с ним только по телефону. Здесь он был старший, и все тут создавалось при его участии: и место для аэродрома выбрал он, и в столовой меню утверждал он, и ни один самолет не приземлялся и не взлетал без его ведома. Это был плотный, небольшого роста человек, круглицы, хозяйственный, с людьми доброжелательный и мягкий, но редко улыбающийся, не любящий шуток и уважающий только серьезное. Когда ему не нравилось что-нибудь, он говорил:

– Это несерьезно.

На Урале, в маленьком городке, жила его жена с двумя детьми. Несмотря на занятость, он почти каждый день писал ей письма. Эти письма, написанные крупным, твердым почерком, он часто оставлял в землянке на столе, и их невольно читали все. Но в них и не содержалось ничего такого, что нельзя было бы прочесть всем. Сплошь, от начала до конца, они состояли из одних только хозяйственных распоряжений. Он наставлял жену, как конопатить стены, как чистить колодец, как солить огурцы, как смазывать детскую обувь, чтобы не промокала. Фотография жены висела у него над койкой, и, глядя на изображение этой тоненькой, маленькой женщины с измученным, испуганным лицом, не верилось, что она могла конопатить стены, чистить колодец и исполнять все прочие бесчисленные распоряжения мужа. Весной Гожев был на Урале в командировке – доставал запасные части к самолетам – и полдня провел дома. Он рассказывал, как жена провожала его на вокзал, и жаловался:

– Ей слово скажешь, а у нее слезы – кап-кап... Несерьезно.

Когда-то он служил военным летчиком, но года за два до войны он ушел в запас и поступил учиться в оперную студию: у него был баритон. Едва началась война, он вернулся в авиацию, но уже не летал, а пошел на штабную работу. Иногда по вечерам в землянке он пел. И голос у него был недурен, и слух верен, но слушать его не особенно любили. Пел он как-то чересчур старательно, слишком добросовестно. Впрочем, репертуар у него был отличный – знаменитейшие арии из классических опер. Обыкновенные песни, которые пели кругом, он презирал.

– Ну, что вы поете? – говорил он. – Несерьезно.

На аэродроме его за глаза называли «сундучником». Это прозвище он получил потому, что под койкой его стояли сундуки, в которых было, как утверждали, все на свете. Ходя, он всегда смотрел себе под ноги, в землю, и замечал всякую мелочь, и все подбирал – гайки, гвозди, пуговицы, веревочки, – и тащил к себе в сундук. Когда кто-нибудь смеялся над этим, он сердился и говорил:

– Сам потом у меня попросишь.

И был прав – так и случалось. Если внезапно нужна была какая-нибудь вещь, которую нигде не могли достать, шли к Гожеву, и он с торжеством вынимал ее из сундука.

Рядом с койкой Гожева стояла койка Чиркова, политрука, пропагандиста полка. Чирков был лет на десять моложе Гожева – ему недавно исполнилось двадцать три. В первый вечер он показался Криницкому несколько угрюмым, раздражительным, но уже

Трудна любовь. Николай Корнеевич Чуковский chukovskiynikolai.ru наутро Криницкий понял, что таким он становился только в присутствии той женщины, Елены Андреевны. Наутро он оказался добродушным, разговорчивым, мальчишески подвижным. Полный любопытства ко всему на свете, он мечтательно вскидывал волосы, падавшие ему на лицо.

Он был рад появлению Криницкого на аэродроме, возможности поговорить со свежим человеком, да еще журналистом. Он задавал ему множество вопросов о положении на фронтах и о международных отношениях, полагая, что Криницкий осведомлен о многом таком, чего он сам не знает. Но Криницкий знал ничуть не больше его и потому отвечал скрупультно. Тогда Чирков принял излагать Криницкому свои собственные взгляды и соображения.

— Мы обязаны выстоять! Если мы не выстоим, что ждет людей во всем мире? — говорил он, возбужденно шагая взад и вперед по узкому пространству между столом и печью. — И мы выстоим. Кроме победы революции, человечеству не на что надеяться. Вы согласны?

Он, весь был захвачен мыслями об истории, о судьбах человечества. Всекидывая волосы, он говорил, что гитлеровское нашествие — продолжение все той же интервенции, что была двадцать лет назад, при Ленине. Задавить революцию, которой они смертельно боятся, — вот их цель. Поминутно спрашивая Криницкого: «Вы согласны?», он утверждал, что мировая борьба за коммунизм вся еще впереди.

— Весь век наш такой, он весь полон одной борьбой, которая решит все, за всю историю, за все века! Мы не можем не победить, мы обязаны победить, мы победим!.. Они хотят, чтобы мы отдали им Ленинград! — Он рассмеялся презрительно и зло. — Отдать город, в котором все началось! Ведь как раз там в семнадцатом году первая петелька соскочила, и вся их гнилая ткань поползла, и теперь уж ничем не починишь... Я вот хожу по землянкам, к техникам зайду, к мотористам, к зенитчикам, провожу политинформацию, а потом так разговариваю обо всем, о большом и маленьком. У нас на аэродроме знаете какие головы есть! Особенно у мотористов подобрались...

И Криницкий ясно представил себе, как рассуждает он таким же вот образом с молоденькими бойцами-мотористами в черных, блестящих от масла комбинезонах и как они, наверное, любят его за увлеченность, простоту, мечтательность, за веру в мировую революцию, за вот эту его потребность думать вслух и за то, что он, в сущности, такой же мальчишка, как они сами. Пока Чирков говорил, Гожев внимательно слушал, не перебивая. Он, видимо, уважал Чиркова за его способность думать об истории, о судьбах человечества, потому что его собственные мысли всегда были проще и конкретнее. Слушая, он все поглядывал на ноги старшего лейтенанта Устиновича, сидевшего с книгой в руках, и когда Чирков умолк, сказал:

— Как вы, Устинович, сапоги стаптываете! Несерьезно.

— Кхе-кхе... — кашлянул Устинович, не отрываясь от книги, и спрятал ноги под койку.

Он был удивительно молчалив, этот Устинович, почти никогда не раскрывал рта и только тихонько покашливал. Даже ночью, сквозь сон, Криницкий слышал время от времени его «кхе-кхе». Возможно, у него было что-нибудь неладное с легкими. Благодаря своей молчаливости он из обитателей землянки дольше всех оставался для Криницкого неясен. Постепенно — и не в первый день, и не от него самого — Криницкий узнал, что родом Устинович из Минска, что там в самом начале войны у него на глазах были убиты авиационной бомбой отец, мать и две сестры и что оттого он такой молчаливый и странный. До войны он был студентом-химиком, и потому его назначили начхимом полка. Он должен был обеспечить оборону личного состава от химического нападения, но немцы не отважились применить газы, и начхиму, в сущности, нечего было делать. Его отправили на этот аэродром, и здесь он исполнял обязанности оперативного дежурного в землянке командного пункта, дежуря иногда по две смены подряд. Он мало ел и мало спал и все свободное время проводил за чтением; читал, что попадалось, и, кончив одну книгу, сразу принимался за другую. В жизни подземной избы он почти никакого участия не принимал, сожители заговаривали с ним редко и относились к нему с ласковым сожалением.

Зато инженер Завойко стал понятен Криницкому чуть не с первого взгляда — до того это был открытый, ясный человек. Когда он, большой, оживленный, вваливался в

Трудна любовь. Николай Корнеевич Чуковский chukovskiynikolai.ru землянку, – а появлялся он всегда неожиданно, так как работал по ночам не меньше, чем днем, и, например, в то первое утро пришел спать, когда все собирались на завтрак, – врытая в землю изба начинала казаться еще теснее и наполнялась топотаньем его сапог, громким его голосом, сложными приятными запахами слесарной мастерской, прелых листвьев, бензина, ветра, гари, сосновой хвои. Родился и вырос он на Урале, но в каждой его повадке, в добродушном лукавстве глаз чувствовался украинец. Он весь был захвачен работой и, войдя, всегда без всякого предисловия рассказывал о том, что только что делал.

– Он у нас Иисус Христос, – сказал о нем Криницкому Чирков. – Воскреситель. Разбитые самолеты воскрешает.

И Криницкий сразу почувствовал, сколько дружбы и уважения скрыто в этих насмешливых словах.

– У Христа работенка легкая была: дотронулся – и воскресил, – добродушно ответил Завойко. – А у нас руки обдерешь и лоб расшибешь, прежде чем воскресишь.

– Ну, если ты не Христос, так доктор, – согласился Чирков. – Лечишь самолеты.

– И не доктор, а портной, – сказал Завойко. – Заплаты ставлю.

Он славился заплатками, которые ставил на пробитые пулями части самолетов. Вырежет из жести кружок и забьет дырку. Оборудованием на аэродроме располагал он самым бедным и примитивным и тем не менее заставлял летать самолеты, которые другим казались безнадежными. Бывало, мотор никак не заводится, а Завойко поковыряет в нем гвоздем, – и, глядь, самолет взлетел.

– Он у нас великий человек, – сказал Чирков. – Швабру летать заставить может.

– Ну уж, великий! – засмеялся Завойко. – Эксплуатационники и ремонтники великими не бывают. Великими признаются только изобретатели, конструкторы. А слыхано ли где-нибудь о великом ремонтнике?

Но Чирков сразу же заступился за изобретателей и конструкторов.

– С изобретателями ты себя не равняй, – сказал он. – На изобретателях будущее держится. Тебе удается гвоздем самолеты чинить, потому что авиации всего-то еще только сорок лет. Тех самолетов, которые будут, гвоздем не починишь. А сейчас – начало, первые шаги. Все вокруг нас – все только начало. Мы живем на заре человеческой истории. В будущем школьники будут путать наше время с каменным веком...

– Видите, каков у нас политрук? – сказал Завойко Криницкому. – Философ. Самодеятельный мудрец.

В ласково-насмешливых словах этих была настоящая гордость за Чиркова.

– Когда мы победим окончательно, все будет другое, даже люди, – продолжал Чирков, не обратив на слова Завойко никакого внимания. – Люди станут прекрасны. Их не будут коверкать ни горе, ни злоба, ни нужда, ни война. Все то, что мы сейчас требуем только от лучших, будет у всех, у каждого.

– Не всегда от людей нужно требовать, – сказал Завойко. – Иногда их достаточно понять.

– А ты что, со мной не согласен? – спросил Чирков запальчиво.

– Почему не согласен? Согласен, – ответил Завойко. – Я с тобой всегда во всем согласен, кроме одного.

– Кроме чего? – спросил Чирков и насторожённо сдвинул брови.

– Строг ты очень. Строг невпопад, – сказал Завойко, и лицо его внезапно стало хмурым. – Строг к людям. Не к будущим. К нынешним.

Чирков вскочил. Глядя Завойко в глаза, он произнес напряженным от гнева голосом:

Трудна любовь. Николай Корнеевич Чуковский chukovskiynikolai.ru

– А ты хочешь, чтобы я в такое время все прощал разным... разным... – он не находил нужного слова.

– Каким это – разным?

Завойко круто повернулся к Чиркову, выпрямился во весь рост, и большое, широкое лицо его с неуклюжим носом медленно багровело.

– Пора завтракать, – сказал Гожев спокойно. – Пойдемте.

Все эти люди и их отношения между собой были бы очень любопытны Криницкому, если бы он прибыл сюда на неделю раньше. Но теперь, ошеломленный своим несчастьем, свалившимся на него так неожиданно, он ни к чему не приглядывался, не прислушивался и видел все, как сквозь туман.

Он был высокий, сухощавый, сутуловатый человек средних лет, много и нервно куривший. Никто не должен был знать о его несчастье. Сжигаемый горем, Криницкий вынужден был вести себя так, чтобы по его поведению никто ни о чем не догадался. Только бы не выдать свою муку необдуманным словом, жестом, выражением лица! Он с ужасом вспомнил, что вчера вечером, впервые войдя в эту землянку, он почти выдал себя. То есть он ничего не сделал и не сказал такого, что дало бы возможность кому-нибудь догадаться, но та женщина каким-то образом догадалась. Это было непостижимо, непонятно, но так. Или, может быть, не так? Может быть, ему померещилось? Случайность, совпадение?.. Неужели она случайно сказала ему, что бывают минуты, когда хочется зарыться головой в землю? Или что мы не умеем доверять людям и оттого мучаемся? Глупости, мы мучаемся оттого, что слишком доверяем!.. К черту, не надо думать об этом, а надо встретиться с той женщиной и понять, догадалась она или нет...

– Перед завтраком сдайте свой продовольственный аттестат Кудрявцевой, – сказал Гожев, выходя вместе с Криницким.

– Какой Кудрявцевой?

– Елене Андреевне.

– Почему Елене Андреевне? – удивился Криницкий.

– Потому что она писарь продчасти, – сказал Гожев.

4

Выходя из землянки, Криницкий зажмурился от света. Небо было пасмурно, но земля сияла, лес, окружавший летное поле со всех сторон и подходивший к землянкам вплотную, пылал осенней листвой. Осины рдели до самых вершин, березы горели сквозным золотом. Золотые листья, опадая, медленно плавали в воздухе, и легкие их вороха, грудясь на земле, возле темных стволов, словно светились изнутри.

– Вот эта тропинка приведет вас в продчасть, – сказал Криницкому Гожев.

И Криницкий зашагал.

Лес сразу обступил его. Исковерканный, измятый обстрелами лес, в котором каждое дерево – калека. Косые, однорукие ели, березки, переломанные напополам и упершиеся кудрявыми вершинками в землю, стволы, торчащие под странными углами на вывороченных глыбах земли, – и всюду на сломах, на ранах крупные капли застывшей еловой смолы и слезы березового сока. Однако искалеченный этот лес оставался лесом, полон был милых, знакомых запахов прели, грибов, увядющей листвы, продолжал жить стойкой, внутренне спокойной жизнью. И вьющаяся тропинка, по которой шагал Криницкий, пестрая и мягкая от листьев, убегала вглубь, в чащу, с такой привычной, издавна любимой таинственностью, что сжималось сердце.

Когда разорвался первый снаряд, Криницкий не упал просто потому, что не успел. Угрюмым гулом прокатился взрыв над его головой, над вершинами, и Криницкий замер, озираясь. Когда разорвался второй снаряд, Криницкий не упал потому, что не упал человек, которого он внезапно заметил шагах в десяти от себя, в стороне от тропинки.

Человек этот, в летнем комбинезоне, в меховых унтах, держал левой рукою

Трудна любовь. николай Корнеевич Чуковский chukovskiynikolai.ru берестяной кузовок, а правой быстро и спокойно собирал крупные ягоды голубики. Роста он был небольшого, и ему почти не приходилось нагибаться. После второго взрыва он повернул юношеское, круглое лицо к Криницкому и приветливо улыбнулся ему, как знакомому. Криницкий почувствовал, что где-то уже его видел, но не успел вспомнить, где именно, так как новый взрыв, гораздо более громкий и близкий, чем прежние, потряс воздух.

Не желая, чтобы посторонний человек принял его за труса, Криницкий усилием воли заставил себя не упасть. И напрасно, потому что молоденький летчик немедленно со всего роста рухнул в кусты голубики, крикнул:

– Ложитесь!

Уже опять раздавался отвратительный вой приближающегося снаряда, и Криницкий упал ничком, уткнувшись лицом в мокрую траву. Грязнел взрыв, совсем близкий, оглушительный, и мягкая воздушная волна ощутимо прокатилась над спиной Криницкого. Потом взрывы пошли один за другим, почти без промежутков, все выло и гудело кругом. Криницкий вжался в землю, каждое мгновение ожидая удара и смерти. Только раз удалось ему на секунду приподнять лицо, он увидел накренившиеся и падающие стволы елей и тотчас же опять уткнулся в землю.

Когда налет кончился, наступила такая глубокая тишина, что в нее невозможно было поверить. Криницкий медленно поднялся, очищая руками свою мокрую черную шинель. Слышно было, как, шелестя, осыпалась по веткам взметенная взрывами земля, но от этого шелеста тишина казалась только еще глубже и неправдоподобнее. Осенняя листва сияла по-прежнему ярко, и искалеченный лес по-прежнему был знакомым, живым, влажно пахучим лесом. Молоденький летчик тоже поднялся и, улыбаясь, как раньше, подошел к Криницкому.

– Здравствуйте, – сказал он. – Вы меня не узнаете, товарищ интендант? Я – Терехин. лейтенант Терехин.

Ни фуражки, ни шлема на нем не было, в светлых волнистых волосах застрияли капли росы и золотой березовый листок. Видя, что Криницкий все еще его не знает, он удивленно воскликнул:

– Да ведь я вчера вечером привез вас сюда! На «У-2»!

Тут только Криницкий его вспомнил. Вчера вечером, сядясь в темноте в самолет, он совсем не разглядел летчика. да и не приглядывался, целиком поглощенный своими мыслями – все о том же.

– Я здешний извозчик, – сказал Терехин. – Вожу людей взад-вперед – то в Кронштадт, то сюда, то на тот берег. Вы на моей койке спите.

– Я не виноват, меня положили... – проговорил Криницкий. – Я, наверное, стеснил вас...

– Пустяки, – сказал Терехин. – Я ведь здесь по ночам не бываю. У меня работа ночная, днем тут не полетишь – сразу сбьют. Хорошо, теперь ночи длинные, а летом круглые сутки светло, по неделям вылетать не удавалось... Пользуйтесь моей койкой, живите, а я, если понадобится, в землянке на старте переночую... Вы куда? В продчасть? Да вот она. Вы уже пришли...

Криницкий козырнул и по мокрым, разъезжающимся доскам спустился в землянку продчасти.

Елену Андреевну застал он в маленькой боковой каморке, в которой тяжело пахло плесенью, копотью и керосином. Пятилинейная керосиновая лампа на столе озаряла дощатые стены, столб, подпирающий потолок, и узкую железную койку с плоской подушкой. Елена Андреевна сидела за столом все в той же неуклюжей шинели и разбирала какие-то бумажонки в папках. «Она тут и работает и живет, – подумал Криницкий. – Вот отчего у нее такое бледное лицо...»

Когда он вошел, она встала. Лицо ее было сухо и замкнуто. Ни одним словом, ни одним взглядом не напомнила она, что вчера они уже встречались и она ему гадала. Она приняла у него атtestат и стоя вписала в книгу. Когда она нагнулась над столом, записывая, он увидел, какая у нее тонкая, детская шея. Беспомощная

Трудна любовь. Николай Корнеевич Чуковский chukovskiy николай.ru  
слабость этой шеи тронула его.

Теперь ему оставалось только уйти. Однако он не хотел уходить, не выяснив того главного, что волновало его больше всего. Догадалась она или нет – вот что ему нужно было узнать. Но как? И он продолжал стоять, переминаясь с ноги на ногу.

Возможно, она поняла, отчего он медлит, так как вдруг спросила:

– Вы будете писать о нашем аэродроме?

– Попробую, – ответил Криницкий.

– Боюсь, это не просто, – сказала она. – И сразу приметесь за работу или сначала будете осматриваться?

– Разумеется, сначала осмотрюсь. Ведь осматриваться – для меня главная часть работы.

– Понимаю, – сказала она. – Иначе у вас и быть не может. Я к тому, чтобы вы сразу взялись за дело. Работа все излечивает.

– Нет, позвольте! – заволновался Криницкий. – Откуда вы знаете, что...

Но она не дала ему договорить.

– Идите, пока нет обстрела, – сказала она дружелюбно и властно, – а то до столовой не дойдете.

И он ушел. Выйдя из землянки, он сразу же, у самого входа, опять столкнулся с Терехиным. Неся свой кузовок, доверху полный ягод, Терехин направлялся в продчасть. Почему-то, встретясь снова с Криницким, он смущился. Круглое лицо его порозовело. В первую секунду он даже сделал было такое движение, будто хочет пройти мимо продчасти, но, решив, видимо, что Криницкий уже понял, куда он идет, остановился.

– Смотрите, какие крупные, – сказал он, чтобы скрыть смущение, и протянул Криницкому свой кузовок. – Почти как вишня. Дождей много было.

– Голубика? – спросил Криницкий.

– Кто как называет, – сказал Терехин. – Можно – гоноболь, можно – голубика...

Он замолк, посмотрел Криницкому прямо в лицо и, преодолев колебание, продолжал:

– Вот несу Елене Андреевне. А то что она ест? Крупу да консервы. А это все-таки витамины...

5

О Елене Андреевне Криницкий узнал кое-что от Гожева. В ближайший вечер в подземной избе.

Весь день Криницкий бродил по аэродрому, заходил в землянки, разговаривал. О чем он будет писать, он еще не знал. У него были привычные, испытанные методы работы – в первый день не писать ничего, не составлять никаких планов, а только узнавать, знакомиться. Душевная боль, не покидавшая его ни на минуту, не мешала ему работать. Напротив, благодаря этой боли он был даже по-особому собран и зорок. Когда с ним шутили, он смеялся. На комсомольском собрании у зенитчиков он принял участие в прениях. Он старался казаться совершенно спокойным и ничем не выдать себя. Вот ведь выдал он себя вчера Елене Андреевне, хотя сам не знал, каким образом... Вечером он заговорил о ней с Гожевым.

Придя после ужина к себе в закрытую избу, он застал там одного Гожева. Остальные еще не вернулись. Гожев сидел за полом и чинил свой китель, распоровшийся под мышкой. Белая, очень чистая рубашка оттеняла его смуглую, загорелую лицо. Шил он аккуратными, маленькими стежками, умело, как настоящий портной.

– Я же говорил вам, что она Кудрявцева, – сказал Гожев многозначительно.

Трудна любовь. Николай Корнеевич Чуковский chukovskiynikolai.ru  
Криницкий не понял.

- Ну, так что же? – спросил он.
- Она – вдова Кудрявцева.
- Какого Кудрявцева?
- Того самого.

Гожев оторвал глаза от кителя и искоса глянул на Криницкого. Увидев по лицу Криницкого, что тот все еще ничего не понимает, он прибавил:

- Не помните летчика Кудрявцева? Знаменитого? Которого убили на двадцатый день войны?
- А! – сказал Криницкий.

Он вспомнил, что в начале войны читал что-то в военных газетах о воздушных боях отважного балтийского летчика Кудрявцева.

– Удивительный был летчик, лучший летчик-истребитель на Балтике, – сказал Гожев.  
– Одиннадцать немецких самолетов сбил за двадцать дней войны. Конечно, в каждом балтийском полку был свой собственный лучший летчик на Балтике, но, по-моему, Кудрявцев действительно был один из самых лучших. Или, может быть, оттого, что я служил с ним в одном полку и все видел своими глазами.. Мы стояли тогда в Эстонии, вокруг аэродрома – леса, леса. Немцы перли на Таллин и появились рядом так быстро, что мы даже многие семьи не успели эвакуировать. Да она ни за что и не хотела уезжать. Самолет Кудрявцева всегда был на старте в готовности номер один, и Кудрявцев не вылезал из него, даже спал в нем. Делал по восемь, по десять боевых вылетов в день, дрался тут же, над аэродромом, так что мы все видели, словно в цирке. Взлетит, покрутится, собьет немца или отгонит – и на посадку, опять сидит в самолете на старте. Она ему на старт и еду носила. Он взлетит, а она стоит с судками рядом с Завойко...

- Почему с Завойко?
- Потому что Завойко тогда был техником Кудрявцева. Это потом он стал инженером полка по ремонту, а тогда был техник, и отличный техник, техник-нянька. С летчиком своим нянчился так же, как с самолетом. Ведь Кудрявцев до войны был человек с завихрениями.

- С завихрениями? Кутила, что ли?

– Еще какой! Завихрения у него разные были, не только кутежи. И охота – завихрение, по неделям в лесу пропадает, и даже игра в шахматы... Лихость в нем была – и на земле и в воздухе. Войдет в комнату словно свет зажгли, слово скажет – хохот кругом стеной стоит. Крепкий, плотный, небольшой, зубы белые-белые. Способный был летчик, что ни вылет – чудеса откалывает. Хоть и не по инструкции летит, а другому так ни за что не сделать. Если бы не завихрения, давно бы командиром эскадрильи стал. Товарищи относились к нему прекрасно, да и начальство, по правде сказать, тоже. Многое ему с рук сходило, что другому бы никогда не сошло. Я его мало знал, я от него был в стороне, мне такие люди непонятны, мне понятны люди основательные. Ну, что его теперь судить – он воевать умел и погиб как герой. Настоящая цена человека узнается в бою и в работе.

- И в любви, – сказал Криницкий.

Гожев посмотрел на него, стараясь понять, не шутит ли он. Не понял и промолчал.

- А Завойко с ним дружил? – спросил Криницкий.

– Завойко? Завойко был ему и техник, и нянька, и мать родная. Много раз его выручал – найдет, вытащит, домой приведет. Однако Кудрявцев умел и от него уходить: завьется куда-нибудь подальше – достань его. А жена сидит вдвоем с Завойко и ждет. Много ей тогда с Завойко посидеть пришлось.

Трудна любовь. Николай Корнеевич Чуковский chukovskiy николай.ru  
– Тосковала, наверно? – спросил Криницкий.

– А кто ее знает, – сказал Гожев. – Я в это не вникал. Казалось бы, такой муж не сахар, но не слыхать было, чтобы жаловалась. Началась война – тут уже она только на старте его и видела. Он в воздухе, а она стоит с судками возле Завойко, под ветром, под солнцем, простоволосая, в пестреньком халатике...

– Отчего же в халатике?

– Она на седьмом месяце была, и очень уже было заметно.. Так она рядом с Завойко и стояла и смотрела в небо, когда его самолет у нее на глазах подожгли и он перетянул через аэродром, таща за собой черный хвост, и упал в лес. У нее сразу же начались роды – тут же, на старте. Ребенок мертвый родился. Немцы подходят со всех сторон, полк перебазируется к Ленинграду, женщины уже все эвакуированы на восток, а она в тяжелейшем состоянии после родов, вот-вот умрет. Завойко ее на последней машине, беспамятную, оттуда вывез. Она очнулась только в Ленинграде, да и то недели через две. И все назад, назад просится, на тот аэродром, возле которого ее мужа сбили. А мы от тех мест уже километров на триста отошли...

– Надеялась, что муж жив? – спросил Криницкий.

– Надеялась или нет, а примириться не умела.

– И теперь надеется?

– Кто ее знает, – сказал Гожев. – Она ведь не скажет. Не думаю, чтоб еще надеялась, но заставляет себя. Вот я и говорю – с горем смириться не хочет. Если здраво рассудить, так ведь тут ни одного шанса нет.

– Все-таки в эвакуацию не поехала, – сказал Криницкий.

– В эвакуацию – ни за что. Пошла к комиссару дивизии, попросила разрешения остаться. Комиссар из уважения к мужу велел ее обмундировать и направил к нам на аэродром.

Гожев зашил прореху и стал внимательно осматривать китель, переворачивая его в световом круге, на столе. Потом поднялся, выдвинул из-под своей койки сундук, порылся в нем, вынул скляночку, и сразу же по избе распространился запах скипидара. Тщательно счищая с кителя пятна намоченной в скипидаре тряпочкой, он сказал:

– Тут про нее по-разному толкуют. Разные взгляды есть, но я своего держусь. Для меня важнее всего дело. Продчасть – знаете какие соблазны. Там и твердокаменный свихнется. А с нею я за продчасть спокоен.

– Что ж про нее толкуют? – спросил Криницкий.

– Про всякого человека что-нибудь толкуют, этого не избежать, – ответил Гожев, нахмурясь. – Она женщина развитая, отважная, умная, за собой следит. Дурного в ней самой ничего нет, что же ее обижать...

6

Тут стукнула наружная дверь, загремели шаги, приближаясь, и он замолчал.

Вошли Устинович и Чирков. Устинович снял шинель, сел на свою койку в темном углу и молча сидел там, покашливая и поблескивая из темноты очками. Чирков с интересом расспрашивал Криницкого, какое впечатление произвело на него комсомольское собрание у зенитчиков. Гожев вычистил китель, пришел к нему чистый подворотничок и надел.

Потом пришел инженер Завойко.

Он с порога торопливо оглядел всю избу. Убедясь, что той, кого он ищет, нет, он тревожно взглянул на ходики, висевшие против печи. Затем снял свой кожаный реглан, сел на койку и начал рассказывать Гожеву о том, что происходило сегодня в ремонтной мастерской.

Рассказывал он, как всегда, оживленно, подробно, с увлечением, но вдруг замолкал

Трудна любовь. Николай Корнеевич Чуковский [chukovskiynikolai.ru](http://chukovskiynikolai.ru) и беспокойно взглядывал на ходики. И чем дольше шло время, тем явственнее ощущалось переполнявшее его тревожное ожидание. Немцы опять вели обстрел, и Завойко напряженно следил за взрывами, приподнимая лицо при каждом глухом ударе.

- Здорово они бьют сегодня... – проговорил он наконец.
- Не бойся, она не испугается, – сказал Чирков язвительно. – Придет.

Завойко, занятый своим, не обратил на насмешку никакого внимания и только опять взглянул на ходики.

И как раз в эту минуту стукнула дальняя дверь, послышались шаги.

Лицо Завойко мгновенно побледнело, как вчера, и по его бледности Криницкий безошибочно отгадал, чьи это шаги.

– Можно? – спросил звонкий мягкий толос, и в осторожно приоткрывшейся двери появилась Елена Андреевна.

И Криницкий вдруг понял, сколько щемящего было в самом звуке женского голоса для людей, постоянно слышавших лишь мужские голоса.

Завойко, как вчера, сначала вскочил с койки, потом сел, потом опять вскочил. Елена Андреевна вошла и нерешительно остановилась, улыбаясь всем. Все смотрели на нее, кроме Чиркова, который как сидел за столом, к ней вполоборота, так и не повернул головы.

- Присаживайтесь, – сказал Гожев.
- Нет, нет, я на минутку, – отказалась она. – Я зашла только книгу вернуть. – Она положила на стол обернутую газетой книжку. – Сегодня не могу, мне нужно еще ведомость переписать.
- Ведомость? Успеется ведомость! – воскликнул Завойко, опять сев на койку и опять вскочив. – Останьтесь хоть немного!
- Что вы все прыгаете? – сказала ему Елена Андреевна, морщась. – Как ванька-встанька. От вас в глазах мелькает.

Завойко, словно ушибленный, испуганно сел, боясь пошевелиться.

- Почему вам не остаться, раз все вас так просят? – проговорил Чирков презрительно. – Вот погадайте товарищу интенданту по лицу...
- О господи, в наше время так несложно гадать по лицу, что не стоит этим заниматься, – сказала она грустно.
- Несложно? – спросил Криницкий, стараясь скрыть свою тревогу.
- По-моему, несложно, – повторила она. – Все кругом уже пятнадцать месяцев живут в разлуке с семьями. Слухи, беспокойные мысли, свои письма, чужие письма... до свидания. Я должна идти.
- Слышите, какой обстрел? – сказал Гожев. – Переждите.
- Это не по нашему краю бьют. Я дойду спокойно...
- Позвольте, позвольте! – перебил ее Криницкий волнуясь. – Что это значит – чужие письма?
- Ну, письма, которые получаете не вы, а другой, – ответила она, кивнула и шагнула к двери.
- Я провожу вас! – воскликнул Завойко и схватил свой реглан.

Она сразу нахмурилась.

- Я думала, меня проводит Сергей Филиппыч, – холодно сказала она и глянула в

Трудна любовь. николай Корнеевич Чуковский chukovskiynikolai.ru  
темный угол, откуда блестели очки Устиновича. – Ему скоро на дежурство.

Устинович сразу встал с койки, шагнул вперед, взял свою шинель.

И в то же мгновение Завойко, большой, широкий, преградил ему дорогу, став между ним и дверью.

– Он не пойдет! – сказал Завойко.

Крепкая шея его побагровела, черные брови сдвинулись, кулаки сжались. Устинович не произнес ни слова и не сдвинулся с места. Тоненький, тщедушный, стоял он перед Завойко, приподняв узкое желтоватое лицо, и смотрел на него сквозь очки спокойно и печально.

Тогда заговорил Гожев. Голосом мягким и сдержаным, в котором, однако, ясно чувствовалось, что говорит командир, он сказал:

– Сегодня Елену Андреевну может проводить наш гость, товарищ Криницкий.

Завойко сразу разжал кулаки и сел на койку.

– Конечно, конечно! – воскликнул Криницкий, поспешно надевая шинель и фуражку. – Я, я провожу вас! Мне все-таки необходимо узнать, каким образом...

Елена Андреевна была уже за дверью и шла вверх по наклонному проходу. Он поспешил за нею.

Последнее, что он слышал, были слова Гожева, сказанные ему вслед:

– Товарищ интендант, не забудьте: сегодня пароль – одиннадцать.

7

В черном небе сверкали крупные осенние звезды. Когда взрывался снаряд, полнеба охватывало зарево вспышки, становилась видна ломаная линия леса, окружавшего летное поле, и звезды на мгновение гасли. Вздрагивала земля, вздрагивал весь громадный воздушный океан над головой. Взрывы эти казались Криницкому совсем близкими, но, по-видимому, он ошибался, потому что Елена Андреевна не обратила на них никакого внимания. Она быстро зашагала по тропинке к лесу, и Криницкий пошел за нею, с трудом поспевая в темноте.

– А вы знаете, что такое одиннадцать? – спросила она, не оборачиваясь.

– Нет. Но я хотел не о том... – заговорил Криницкий торопливо.

– Это пароль по аэродрому на сегодняшнюю ночь, – объяснила она, не обратив внимания на его слова. – Каждый вечер число меняется.

Тропинка уже вошла в лес, темные деревья обступили их с обеих сторон, и небо текло над ними, как узкая звездная речка.

– Сейчас нас остановит часовой и назовет какое-нибудь число, – продолжала она. – А мы должны будем назвать разницу между его числом и одиннадцатью. Поняли?

– Как вы могли догадаться, что я все узнал из чужих писем? – спросил Криницкий, занятый своим и не слушая ее. – Ведь вам никто не мог рассказать...

– Я вовсе не догадалась, – ответила она. – Я так сказала... А вы все узнали из чужих писем?

– У меня есть один сослуживец, и семья его тоже в Челябинске, – сказал Криницкий.

– Ваша семья в Челябинске?

– Была в Челябинске. до июня. Жена и двое детей. Девочки-погодки. Старшей уже десять лет.

– Теперь их нет в Челябинске?

- Они недалеко оттуда, в пятнадцати километрах, на опытной сельскохозяйственной станции. Жена там работает.
- Так это хорошо, – сказала Елена Андреевна. – Там, конечно, сытнее.
- Жена мне так и писала, – подтвердил Криницкий, но по голосу его было ясно, что он не видит в этом ничего хорошего. – Она и теперь часто бывает в Челябинске.
- И встречается там с женою вашего сослуживца?
- Ну да.
- И жена сослуживца пишет в письмах к мужу про вашу жену, а муж показывает эти письма вам? И это вас мучает! – воскликнула Елена Андреевна. – Да ведь это же сплетни!
- Никаких сплетен она не пишет, – возразил Криницкий. – Она пишет только, каким образом моя жена устроилась работать на опытную станцию...
- Ее, конечно, кто-нибудь устроил...
- Ну да, один ученый-агроном, – сказал Криницкий с ненавистью и презрением.
- Ваша жена познакомилась с ученым-агрономом?
- Она давно его знала! В том-то и дело, что... – начал Криницкий, ужасно торопясь, решившись вдруг все рассказать и чувствуя от этого неожиданное облегчение.

Но тут звонкий мальчишеский голос окликнул их из темноты:

- Восемь!
- Криницкий вздрогнул, остановился и замолчал, недовольный что его перебили. В темноте под елью он смутно видел фигуру краснофлотца с винтовкой.
- Три! – ответила Елена Андреевна, и они пошли дальше.
- Дело в том, что этого агронома я тоже давно знаю, – сразу же продолжал Криницкий, летя, как с горы, спеша рассказать все-все. – Он наш, ленинградский, работал здесь до войны в сельскохозяйственном институте. Года три назад жена познакомилась с ним где-то по своим служебным делам. И он... и он... И я... и я...
- Вам не понравилось это знакомство?
- У нас чуть до развода не дошло. Одну осень мы с ней прожили как в бреду. Я говорил: «Либо я, либо он». Ведь правильно? И она дала мне честное слово никогда больше с ним не встречаться.

Они дошли уже до входа в землянку продчасти. Елена Андреевна остановилась и обернулась к Криницкому.

- Дурак я! – воскликнул Криницкий, и голос его задрожал от гнева и муки. – Какой я дурак, что тогда не развелся!
- Счастливый, – сказала Елена Андреевна тихо.

Криницкий не понял. Она издевается, что ли? Вглядываясь в ее слегка приподнятое лицо, смутно белевшее в темноте, он спросил:

- Кто счастливый?
- Вы, вы счастливый! – сказала она искренне и мягко. – Вы не знаете, какой вы счастливый!
- Почему?
- Вам есть кого ревновать!

Он стоял, взволнованный ее словами, и старался сквозь темноту взглянуть в ее лицо, но не мог, так как она опустила голову.

— Как я когда-то ревновала! — сказала она. — Если бы я тогда знала, как я счастлива!..

Голос ее дрогнул и странно сорвался.

Взрыв снаряда озарил небо, и при мгновенном свете он увидел ее неуклюже сгорбившиеся плечи и понял, что она плачет. Он вспомнил, что она потеряла мужа.

После вспышки стало еще темнее, и она долго стояла перед ним в темноте и бесшумно плакала о муже, а он молчал, полный внезапной жалости к ней и с удивлением чувствуя, что боль, которая столько дней не покидала его ни на минуту, слабеет, утихает.

Она внезапно вытерла лицо рукавом и сказала:

— Простите меня.

И шагнула к низенькой двери, ведущей в землянку.

— Нет, это вы меня простите, — сказал он, чувствуя себя виноватым перед нею, хотя и не знал в чем.

Она уже скрылась за дверью.

Он постоял еще несколько секунд, потом повернулся и быстро зашагал по тропинке назад. Впервые за这么多天的奇怪的状况他感到一种奇怪的宁静，一种前所未有的宁静。他看着夜空中的星星，心中充满了对未来的希望。

— Тринадцать! — раздался звонкий голос из темноты. Криницкий остановился. Что это? Он должен что-то ответить, но что именно? Нужно прибавить... или отнять... Провожая его в конце июня прошлого года на Балтийском вокзале, жена все прижималась к его щеке и шее мокрым от слез лицом, потом отодвигала его руками, смотрела на него и опять прижималась... В темноте под елкой что-то шевельнулось, и свет звезд блеснул на стволе поднятой и выставленной вперед винтовки.

— Два! — выговорил наконец Криницкий.

— Проходите, товарищ интендант третьего ранга, — весело сказал часовой.

«О чём это я сейчас думал? — старался вспомнить Криницкий. — О таком хорошем... да! Пускай... Не может этого быть, чтобы она меня разлюбила!...»

8

Утром на аэродром прилетели из-за моря истребители. Ветреный, пронизанный холодным осенним солнцем воздух был прозрачен, и немцы отлично видели, как они шли на посадку. Обстрел начался сразу же, черные столбы дыма и поднятой взрывами земли побежали через все просторное травянистое поле от одного края к другому. Истребители садились уже между этими столбами, и взвихренная к небу галька стучала, осыпаясь, по их деревянным плоскостям, как картечь. Лавируя между взрывами, к ним стремительно подкатили бензозаправщики, чтобы как можно скорее влить бензин в их опустевшие за перелет баки. Аэродром весь гудел и гремел, люди, то падая, то вскачивая, работали у самолетов, а ветер нес через их головы то клочья дыма, то смерчи из красных и золотых листьев.

Потом со стороны моря донесся новый звук, он быстро крепнул, приближаясь, и над аэродромом низко проплыли одна за другой три эскадрильи советских бомбардировщиков. Они здесь не собирались садиться, они прошли дальше, на юг, — бомбить скопления немецких войск у Ропши, — и только распластавшиеся тени их скользнули по дрожащей на ветру траве. Истребители сразу же взлетели, чтобы сопровождать их, и пристроились к ним в воздухе, уже за лесом. Немцы мгновенно усилили огонь, и черные столбы взрывов опять побежали по летному полю, но уже пустому, безлюдному.

Часа через два Криницкий принял участие в экспедиции, отправившейся за нашим

Трудна любовь. Николай Корнеевич Чуковский chukovskiynikolai.ru  
самолетом, сбитым немцами и упавшим в лес возле передовой. Из армейских частей  
сообщили, что летчик унесен и похоронен бойцами, а самолет, кажется, поврежден  
безнадежно; однако Завойко заявил, что необходимо его посмотреть.

– Хоть что-нибудь да уцелело, – сказал он капитану Гожеву. – А нам все  
пригодится.

Инженера Завойко сопровождали кроме Криницкого пятеро мастеров-краснофлотцев из  
его мастерской, двадцатилетних мальчиков. Они углубились в лес, беспрестанно  
перелезая через поваленные снарядами стволы. Они шагали по жестким зарослям  
брюсники и нагибались, чтобы сорвать на ходу твердую красную ягодку с белым  
брюшком.

Впрочем, все очень торопились, потому что Завойко шел впереди и надо было не  
отставать от него. Свое большое полное тело нес он легко и весело, даже  
мальчишески подпрыгивая на ходу. Круглое лицо его с ямочкой на щеке оживленно  
сияло. Он увлечен был и целью похода и всем, что встречалось на пути. С явным  
удовольствием ступал он по мягкому мху, оседавшему у него под ногами,  
перепрыгивая с кочки на кочку через черные лужи болотца, раздвигая руками  
сплетения ветвей. Иногда, заметив у ног своих ягоду, он тоже, подобно своим  
краснофлотцам, нагибался, чтобы сорвать ее. Вообще он вел себя почти как они и  
держал себя с ними товарищески и просто, хотя был их командиром. Когда один из  
них нашел в траве маленькое подкинутое птичье гнездо, он подбежал к нему с тем  
же детским любопытством, как и все остальные. Он вместе со всеми принял участие  
в преследовании белки, которую внезапно обнаружили на сосне, и бежал за нею, и  
улюлюкал, и, подобно остальным, швырял в нее шишками, пока она перепрыгивая с  
дерева на дерево, не исчезла. Однако при всей беззаботной простоте их  
товарищеских отношений дисциплина не нарушалась. Бойцы любили его и дорожили его  
мнением о себе – это легко было заметить по той поспешности, с которой они  
стремились выполнить всякое его поручение, по тому, как заглядывали они ему в  
лицо, чтобы угадать его мысли, и как легонько отпихивали друг друга, чтобы идти  
с ним рядом.

Самолет «И-16», подняв хвост кверху и зарывшись толстым носом в землю, диковинно  
торчал посреди широкой лесной прогалины, покрытой бледно-лиловыми цветочками  
вереска. Летчик, по-видимому, надеялся посадить его на этой прогалине, потому  
что успел выпустить шасси, но самолет, должно быть, уже плохо его слушался, да и  
прогалина была слишком коротка для посадки. Криницкому самолет показался  
исковерканным безнадежно – обломки винта, разорванного на причудливые щепки,  
валялись повсюду, широкий, круглый мотор воздушного охлаждения целиком ушел в  
землю, а фюзеляж был смят и деформирован.

– Ну как? – спросил он у Завойко. – Зря пришли?

Завойко ничего не ответил, даже не рассышал его вопроса, – так он был поглощен  
самолетом. Медленно обходил он самолет вокруг, сдвинув черные брови; осматривал  
и молчал. Краснофлотцы двигались вслед за ним, разглядывая самолет с тем же  
вниманием, что и он, и тоже молчали. Они не считали возможным сказать что-либо  
прежде, чем скажет он.

– Угу, – произнес Завойко наконец. – Понятно.

Всем было понятно, кроме Криницкого. Он ничего не смыслил в технике. О  
намерениях Завойко он не догадался даже тогда, когда самолет был открыт и  
поставлен в горизонтальное положение. Завойко долго разглядывал мотор,  
сплющенный ударом и забитый землей. Изредка он обменивался со своими помощниками  
короткими замечаниями, смысла которых Криницкий уловить не мог. И только когда  
начали сооружать из жердей треногу, чтобы водрузить на ней исковерканное тело  
самолета, он убедился, что Завойко решил волочить самолет на аэродром.

В треногу впряженлись все, а Криницкий даже с особым усердием, потому что  
чувствовал неловкость от сознания своей бесполезности. Впряженся и Завойко и  
поразил Криницкого своей силой, – оказалось, он был много сильнее любого из  
своих бойцов. Едва они выволокли самолет на поросшую травой лесную дорогу, как  
их обстрелял «мессершмитт».

Они давно уже видели его, кружавшегося высоко в ясной синеве, и понимали, что он  
следит за ними. Внезапно он сорвался со своей прозрачной, пронизанной солнцем

Трудна любовь. Николай Корнеевич Чуковский chukovskiynikolai.ru высоты и пошел прямо на них – почти вертикально. Он уже вел огонь, и дождь пуль шумел в широких лапах елок.

Криницкий упал не сразу – от растерянности, и Завойко сбил его с ног сильным ударом в спину и сам завалился на него, прикрывая его своим телом. «Мессершмитт» вышел из пике над самым лесом и, оглушительно воя мотором, стал уходить вверх. Краснофлотцы, укрывшиеся под елками, били ему вслед из винтовок. У Завойко и Криницкого винтовок не было. Завойко не давал Криницкому встать и всею тяжестью прижимал его к земле, потому что опасался, что «мессершмитт» атакует их снова. И опасения его оправдались – проклятый «мессершмитт» обстрелял их еще дважды. И Криницкий почти задохнулся под тяжестью Завойко к тому времени, когда тот наконец поднялся и дал ему встать.

Они снова впряженлись.

– Я вас, кажется, немного помял, интендант? – сказал Завойко с грубоватой застенчивостью, оглядывая Криницкого сбоку. – Но уж такое дело. Извините.

У Криницкого ныла спина, болели колени, локти, грудь. Он ничего не ответил, но с удивлением посмотрел на этого чужого ему человека, который не колеблясь подставил под пули свою спину, чтобы заслонить его. Криницкий не умел выразить своих чувств и понимал, что выражать их нет никакой надобности.

Навстречу им послали трактор-тягач, и через полчаса искалеченный самолет был уже на аэродроме, в ремонтной мастерской, наполовину врытой в землю и заслоненной с юга, со стороны обстрела, земляным валом.

К ремонту приступили немедленно. План ремонта уже целиком сложился у Завойко в голове, и он весь был охвачен стремлением осуществить его возможно скорее. Однако он по-прежнему был молчалив, никому ничего не объяснял и не обещал никаких результатов. Даже Гожеву, зашедшему в мастерскую и выразившему сомнение, что самолет этот когда-нибудь полетит, он сказал:

– Не знаю... Увидим...

– Ну-ну, ладно. Действуйте, – ответил Гожев, и ясно было, что он, наученный опытом, верит в возможность починить этот, казалось бы, безнадежный самолет, раз Завойко говорит «увидим».

Криницкий ничем не мог помочь в ремонте, ничего не понимал в нем, однако ему не хотелось уходить. Он сидел на березовом полене, следя за работой. Самолет разбирали на составные части и внимательно оглядывали каждую деталь. Помощникам своим Завойко тоже ничего не объяснял, но они давно уже научились догадываться без объяснений. Они понимали его по движениям рук и глаз, как оркестранты понимают своего дирижера. Они были охвачены азартом работы совершенно так же, как он. Каждый из них испытывал гордость, когда угадывал его замысел, и приходил в уныние, когда он говорил весело и беззлобно:

– Эх ты, валенок...

Это были рабочие в краснофлотских робах, мастеровые, влюбленные в свое мастерство. Умение, сноровку, работу они ценили высоко и с одобрением слушали, когда Завойко, роясь в моторе, рассуждал, обращаясь к Криницкому:

– Мы бы не работали – летчики бы не летали. А вы думаете, как? Нет, без нас не полетишь. Все на свете делается работой. И война – работа. И победа – работа.

– А подвиг? – спросил Криницкий.

– И подвиг – работа, – ответил Завойко. – Отличная работа. Все наши летчики-герои – отличные работники.

Летчиков-истребителей, время от времени садившихся на аэродром, знали они мало, но восхищались ими, с восторгом повторяли их прославленные имена. Однако это восхищение, это чувство восторга не шло ни в какое сравнение с той живой и простой любовью, которую испытывали на аэродроме к единственному «своему» летчику – к Сане Терехину.

Трудна любовь. Николай Корнеевич Чуковский chukovskiynikolai.ru Терехин жил здесь, с ними, и они видели его каждый день. Они наизусть знали его старенький маленький связной самолетик, потому что после каждого перелета он попадал к нему в ремонт. Самолетик этот, на котором Криницкий перелетел в качестве пассажира через Финский залив, давным-давно отслужил свой законный срок и множество раз был пробит пулями «мессершмиттов». Говорили, что сам Завойко, постоянно его ремонтирующий, не понимает, каким образом он еще может летать. Уверяли, что, кроме Сани Терехина, ни один летчик, даже самый опытный, не умудрился бы поднять его в воздух. А между тем Саня Терехин каждую ночь перелетал на нем через море и возвращался обратно.

Каждый перелет Терехина был подвигом, потому что над морем рыскали «мессершмитты», а его самолет был тихоходен и не имел никакого оружия. Когда Терехин улетал, весь аэродром ждал его возвращения. Рассказы о его приключениях Криницкий слышал от всех. Особенно известен был один его перелет, совершенный нынешним летом, светлой белой ночью.

Только Терехин поднялся, как встретил над лесом два «мессершмитта». Они сразу заметили его самолет и стали подходить к нему: один – справа, один – слева. Сесть было некуда, и положение казалось безнадежным.

Терехина выручила длинная просека в лесу. Он вскочил в эту просеку и пошел по ней, держась над самой землей. Просека была узкая, и края плоскостей самолета почти задевали стволы сосен.

Расчет оказался правильным «Мессершмитты», слишком большие, не рискнули войти в просеку. Летя над Терехиным, они обстреливали его, но безуспешно.

Однако просека была не бесконечна. Она выходила на берег моря, и Терехин, выскочив из нее, оказался над водой. «Мессершмитты» кинулись к нему разом. Теперь гибель его казалась неизбежной. Но он заметил на берегу какую-то деревянную дачку, развернулся и направился к ней. Прижавшись к самой земле, он завертелся вокруг дачки, укрываясь за ее стенами от длинных пулеметных очередей «мессершмиттов».

«Мессершмитты», обладавшие гораздо большей скоростью, чем он, и, следовательно, меньшей маневренностью, не осмеливались подходить к дачке так близко. Он вертесся вокруг дачки по малому кругу, а они по большим кругам. Они вели огонь, но все мимо.

Однако Терехин понимал, что в конце концов они попадут в него. В нескольких километрах от берега, на Кронштадтском рейде, стояли корабли Балтийской эскадры. Кружась, он сквозь прозрачные сумерки летней ночи видел их черные силуэты на фоне громадной непотухающей зари, охватившей весь северный край горизонта. Улучив мгновение, он оторвался от дачки и понесся к кораблям, распластавшись низко-низко, над самой водой. «Мессершмитты» на несколько секунд потеряли его из вида, потом пустились за ним в погоню. Вода вскипала вокруг Терехина от пулеметных струй, и все-таки он успел прорваться к кораблям. На кораблях заметили немецкие истребители и открыли по ним зенитный огонь. «Мессершмитты» разом повернули и ушли назад, на юг, растаяв в сумерках. Тогда Терехин оставил корабли и пошел своим путем – через море на северный берег.

Так в течение целого года проходили ночи Сани Терехина.

Дни он проводил на аэродроме. И все кружил в лесу возле землянки продчасти, как тогда кружил возле дачки на берегу моря. И всем это было известно, но говорить об этом избегали. Потому что слишком уж то была горячая тема – землянка продчасти. И касалась она не только одного Сани Терехина.

Боль, терзавшая Криницкого столько дней и ночей и вдруг отпустившая его после коротенького разговора с Еленой Андреевной, опять возвратилась к нему. Опять Криницкий нес ее с собой повсюду, она сопровождала его и в лес и в мастерскую Завойко, он по-прежнему жил с этой болью, засыпал, просыпался и по-прежнему скрывал ее от окружающих. Мысли о жене, об опытной станции, об агрономе мучили его, как и раньше.

И все же боль эта была уже не совсем прежней. Она изменилась. В ней стало меньше ожесточенности и обиды, к ней примешалось что-то грустное, мягкое.

Трудна любовь. Николай Корнеевич Чуковский chukovskiynikolai.ru  
В течение всех долгих месяцев с начала войны жена писала ему каждые два-три дня. Он всегда ждал этих писем, волновался, когда они задерживались, перечитывал их по многу раз, оставшись наедине. Это были письма, полные заботы о нем, тоски и тревоги. Она в них подробно рассказывала о всех мелочах своей трудной жизни с детьми в далеком незнакомом краю и никогда не упоминала ни о том агрономе, ни о том разладе, который был между ними в последние годы перед войной. И Криницкий верил, что все то, прежнее, прошло навсегда, бесследно, что война, несмотря на разлуку, укрепила их отношения, сделала их ближе друг к другу. И когда он случайно узнал, как и почему она переехала из Челябинска на ту опытную сельскохозяйственную станцию, его больше всего поразило и оскорбило лицемерие.

Писать ему такие письма и в то же время... ложь, обман, надругательство!.. Его корчило от боли и обиды, и он, измученный собственным гневом, изобретал один план за другим, как бы уязвить ее сильнее, причинить ей такую же боль.

Разумеется, между ними все кончено. Никогда! Он сам ей напишет письмо, последнее, где скажет все, все, что он о ней думает. Или нет, – если он ей напишет, она начнет оправдываться, опять лгать. Он ничего больше писать не будет, он больше не станет читать ее письма, не станет даже вскрывать их, а так, невскрытыми, будет отправлять обратно. Когда она получит назад свои письма, она поймет, что он все знает и что между ними действительно все кончено... Он нарочно уехал в командировку, чтобы в редакции накопилось побольше ее писем. Пускай побеспокоится, не получая ответов. А потом разом получит свои письма и увидит, что он их даже не читал!..

Так думал он еще сутки назад, но теперь его мысли слегка изменились. Почему? Потому что он стал думать о детях? Неправда. Он думал о детях с самого начала. Он с самого начала понимал, как это ужасно отразится на них. Но что можно сделать? Можно поступить так: написать спустя некоторое время старшей своей девочке письмо и постараться все объяснить ей. Впрочем, это жестоко и бесмысленно: что она поймет?.. Нет, мысли его изменились не из-за этого. Он стал думать иначе после разговора с Еленой Андреевной... Да что она ему сказала такого? Что он счастливец? Глупости! Вот так счастливец!.. Ничего она ему важного не сказала, а просто, заплакав, пробудила в нем сомнение. И жалость к жене... И он словно опомнился. А когда он пожалел жену и опомнился, его собственная боль стала легче.

И, вспоминая о маленькой женщине из продчасти, которая облегчила его боль, он думал: «А ведь она славная...»

9

Политрук Чирков забрел в мастерскую Завойко только к вечеру, когда Криницкий собрался уже уходить. Дверь мастерской была раскрыта настежь, за ней виднелось просторное поле аэродрома. Вечерняя синь клубилась над полем, ветреный, красный закат висел над дальним темным лесом.

Чирков только что закончил политинформацию в автороте, и бойцы автороты проводили его до самой мастерской. Из всех своих обязанностей больше всего любил он политинформации. Ему нравилось быть на людях, с людьми, и с каждым человеком на аэродроме он находился в особых отношениях, очень личных. Его политинформации всегда превращались в беседу, в спор, в совместную мечту, задевали множество самых разных вопросов, уходили в прошлое, в будущее. Он разгорячался сам и возбуждал других.

Такой, разгоряченный, взволнованный, весь еще полный разговоров и мыслей, забежал он в тот вечер на минуту в мастерскую – посмотреть самолет. С Криницким они вышли вместе. Они зашагали по тропинке через темнеющее поле, и от света заката пыпал на его радостно оживленном лице.

В сумерках, шагах в тридцати от раскрытой двери мастерской, стояли двое. Одного из них Криницкий узнал сразу – старший лейтенант Устинович. Перед Устиновичем – маленький краснофлотец в сапогах. Только подойдя ближе, Криницкий понял, что этот краснофлотец – женщина. С Устиновичем стояла Елена Андреевна. Когда Чирков и Криницкий поравнялись с ними, она повернулась и четко их приветствовала.

Они прошли мимо. Криницкий взглянул сбоку в лицо Чиркова и был поражен переменой. Радостное оживление сошло с него бесследно, Чирков угрюмо и насупленно смотрел в землю.

- Ошибка комиссара дивизии, – проговорил он сквозь зубы.
- О ком это вы? – спросил Криницкий.
- О ней.
- Ошибка? – удивился Криницкий. – Почему же ошибка?
- Потому что комиссар дивизии позволил ей жить здесь.
- А почему же не позволить? – спросил Криницкий.
- Потому что она поступает безобразно!

Чирков отвернул лицо и замолчал. Криницкий давно уже заметил, что Чирков не любит Елену Андреевну, и не собирался вмешиваться в их отношения. Но теперь он возмутился.

- Зачем вы так говорите? – спросил он довольно резко. – Она распутница, что ли?
- Если бы она была распутница, это было бы еще не так плохо, – сказал Чирков. – Тогда ее в два счета выставили бы с аэродрома – и все. Да в распутниц никто и не влюбляется. Нет, она не распутница. Она хуже, хуже!..
- Что же она делает плохого?
- Все, что она делает, – это... это...

Он не сразу нашел подходящее выражение, потом выговорил:

- Дурная игра!

Слова эти показались ему такими точными, что он повторил их.

- Дурная игра! Да вы видите, что здесь творится?
- Вижу, – сказал Криницкий. – Она многим нравится.
- Нравится! – Чирков рассмеялся. – В нее влюблены! Смертельно! До гибели!

Он проговорил это с таким пылом и убеждением, что Криницкий приостановился и внимательно посмотрел на него.

- Взгляните на Устиновича, – продолжал Чирков, торопливо шагая. – Он высох, перестал разговаривать, ничего не ест, он только работает да читает, живет как во сне, а когда она приходит, молчит и глядит на нее сумасшедшими глазами...

- Мне показалось, что инженер Завойко тоже... – сказал Криницкий неуверенно.

- Завойко! – воскликнул Чирков. – Вы заметили, что творится с Завойко! Когда ее нет, он – человек, да какой человек, такого человека на тысячу не встретишь. А она приходит и обжигает его, как горячий уголь. И он корчится, буквально корчится на глазах у всех. Больно смотреть.

- И еще этот ваш летчик... как его... Терехин...

- И этот мальчишка туда же! Да она его старше, она одних лет с Завойко. Вот и вышла бы за Завойко замуж. Она должна выйти за Завойко!

- Почему должна?

- Потому что он любил ее, еще когда Кудрявцев был жив. Он был другом Кудрявцева и ни слова не говорил ей о своей любви, но она-то знала – такие вещи женщины всегда знают. Завойко спас ее, больную, от немцев. Чем он ей не хорош? Да лучшего человека в дивизии не найти!

- Вы очень любите Завойко?

– Мы с ним друзья, – сказал Чирков смущенно, с мальчишеской застенчивостью. – Хотя часто ссоримся...

– Из-за нее?

– Из-за нее Он всегда ее защищает. А я считаю, что она обязана... Я не из дружбы, я из справедливости. По справедливости она должна за него выйти...

– Ну, справедливость в таком деле еще не резон...

– Не резон! – повторил Чирков запальчиво. – Вот и вы рассуждаете, как Гожев: «Жениться на фронте? Несерьезно» Знаете, какой он. Для него было бы серьезно, если бы можно было домик построить, поросенка завести, огурцы солить. А как же на фронте огурцы солить? Вот и несерьезно. Как же несерьезно, если она мучит столько живых людей!

– Вовсе я не рассуждаю, как Гожев, – сказал Криницкий. – Я только думаю, что, как бы ни был Завойко хорош, она не обязана выходить за него. Она, кажется, предпочитает Устиновича...

– Предпочитает? – воскликнул Чирков. – Никого она не предпочитает. Она сталкивает лбами двух хороших товарищей, двух испытанных друзей и доведет их обоих до беды. Чувствует свою власть и куражится. Дурная игра!

– Нет, позвольте, откуда же у нее власть такая? – спросил Криницкий недоверчиво.

– Внешность у нее скромная, ничем особенно не замечательная...

– Как будто здесь дело во внешности!

– А в чем же?

– В душевности, – сказал Чирков, подумав. – Она умеет понять, что у человека лежит на сердце, и сказать самое для него главное.

Эти слова поразили Криницкого. Он опять остановился и с изумлением взглянул на Чиркова.

– Какая же тут вина! – воскликнул он в негодовании. – Нельзя же ее винить за то, что в нее влюбляются! И если она не любит Завойко, она не виновата!

– Пускай не любит! Пускай не выходит за него замуж! Ее дело. Но зачем она над ним издевается? Какое она право имеет? Она каждое слово его превращает в глупость, дразнит его, как быка. Его легко дразнить – знаете, какой он самолюбивый. Он перед ней беззащитен, а она дразнит, дразнит...

– Да, она очень странно и недружелюбно ведет себя с ним, – согласился Криницкий.

– Я действительно не понимаю...

– А что понимать! – перебил его Чирков. – Горе свое на нем вымещает. Выдумала про него скверную басню и теперь, видите ли, простить ему не может. Он будто бы ее тогда спасал, а мужа ее спасать не хотел. Когда самолет Кудрявцева упал в лес, Завойко будто бы не пошел искать, не узнал, жив ли Кудрявцев, а кинул ее вывозить с аэродрома. Из трусости, что ли, или чтоб она стала его женой... Похоже это на Завойко, а?

– Непохоже, – сказал Криницкий.

– Ведь немцы тогда подходили к аэродрому, и если Завойко не пошел в лес, значит, он твердо знал, что туда прохода нет... Сочинила глупую басню и бьет теперь беспощадно по человеку, который жизнь бы за нее отдал!

Чирков задохнулся от волнения, хлебнул воздуха и яростно прибавил:

– Ненавижу!

Козырнул и пошел в сторону, в темноту, оставив Криницкого одного.

Уж почти стемнело, и Криницкий, оставшись один, вдруг обнаружил, что не совсем ясно себе представляет, как пройти к зарытой избе, в которой он жил. В темноте поле казалось огромным, безграничным. Криницкий пошел наугад к смутно различимому лесу, помня, что зарытые избы находятся где-то возле опушки. Но к лесу он вышел в незнакомом месте. Вдоль леса вилась дорога, светлая от пыли, накатанная грузовиками и бензозаправщиками; она шла вокруг всего аэродрома, то пропадая в кустах, то выбегая на край поля. Криницкий остановился, подумал и свернулся по дороге направо.

Ветер шумел в темных деревьях, падающие листья поминутно касались его щек. Он быстро шагал, дыша влажным ветром и поглядывая вверх, на уже ясно обозначившиеся звезды. И вдруг почувствовал, что следом за ним кто-то идет.

Он именно почувствовал это, потому что расслышать шаги в шуме деревьев не мог.

Он обернулся.

Позади, на изгибе дороги, видны были темные купы кустов. Если там находился человек, он сливался с этими кустами, и различить его было невозможно.

Криницкий пошел дальше. Теперь он уже твердо знал, что его кто-то преследует. Не просто идет в одном с ним направлении, а преследует: чуть Криницкий замедлит шаги – и тот, другой, замедлит шаги.

Дойдя до открытого места, Криницкий повернулся внезапно и резко.

На этот раз он отчетливо увидел человека, который поспешил метнуться в сторону, к кустам. Однако, поняв, что его обнаружили, до кустов не добежал, а застыл посреди дороги, пристально глядя на Криницкого сквозь мглу. Криницкий тоже стоял неподвижно и не отрываясь глядел на своего преследователя.

Так, в молчании, прошло минуты две. Человек, смотревший на Криницкого, был крупен и широк, как медведь. Фуражка военная.

Внезапно он двинулся с места и шагнул к Криницкому. Криницкий продолжал стоять.

– А, это вы! – услышал Криницкий досадливый возглас и узнал инженера Завойко.

Кожаного реглана на Завойко не было. Он выбежал из мастерской как был – в рабочем комбинезоне, перетянутом ремнем, с которого свисала большая кобура пистолета «ТТ».

– Это вы! – повторил он раздраженно. – А где же они?

– Кто? – спросил Криницкий.

– К черту! – воскликнул Завойко, вне себя от досады. – Я принял вас за него и пошел за вами. Я видел их через дверь. Где же они? Куда он повел ее?

Он дрожал от раздражения и гнева и, кажется, ненавидел Криницкого за то, что не узнал его в темноте.

– Он был с ней, а потом, смотрю, идет один. Я увязался за вами и дал ему уйти! А, черт! – чертыхнулся он снова. – Ну, нет, я его еще догоню!

Махнув на Криницкого рукой, он повернулся и побежал по дороге обратно. Пистолет в кобуре, раскачиваясь, бил по его бедру. Его широкая спина растворилась в темноте, но еще долго было слышно, как он бежит вдоль края леса и как стучат его сапоги.

Криницкий продолжал стоять. Ему было ясно, кого хотел догнать Завойко. Из мастерской, через раскрытую дверь, Завойко увидел Устиновича и Елену Андреевну. Он не совладал с ревностью, выскочил и побежал за ними. Криницкий вспоминал его дрожь и его бешенство и не знал, что делать. Особенно почему-то не выходил у него из головы пистолет, болтавшийся у Завойко на ремне. Конечно, на аэродроме всегда все ходят с оружием, но теперь мысль об этом пистолете тревожила его...

Трудна любовь. Николай Корнеевич Чуковский chukovskiynikolai.ru И Криницкий решился. Он двинулся обратно за Звойко. Сначала он шел неторопливо, но чем дальше, тем сильнее становилась его тревога и тем быстрее он шагал. Он не знал, чем может кончиться встреча Звойко с Устиновичем, он ожидал чего угодно, самого ужасного. Он уже бежал, бежал во весь дух, и ветки в темноте хлестали его по лицу.

И вдруг услышал впереди голоса.

Он мгновенно замер, вслушиваясь и взглядываясь.

Звойко и Устинович стояли за большим черным кустом, который огибала дорога, и он налетел бы на них, если бы не остановился.

Слов Звойко Криницкий не разобрал. Звойко свирепо и невнятно гудел, угрожающе наступая на Устиновича, взмахивая руками.

– Зря. И все ты зря, – сказал ему Устинович ласково и безнадежно.

– Ну нет, не зря! – закричал Звойко. – Я не слепой, я все вижу, я все знаю! Нет, не зря!

– Зря, – повторил Устинович.

– Зря? Почему зря?

– Потому что она меня не любит, – сказал Устинович. – Ни вот столько. И не полюбит никогда.

Звойко замолчал. Долго молчал. Потом спросил:

– Правда?

– Правда, – ответил Устинович.

Он положил руку на рукав Звойко, и так, в молчании, они долго стояли друг перед другом.

– А меня она ненавидит! – сказал Звойко, и голос его дрогнул от боли.

– Неверно, – возразил Устинович.

– Нет, верно! – воскликнул Звойко. – Ненавидит! Как она со мной разговаривает!

– Простить тебе не может. Уверяет себя, что не может простить.

– Да что прощать! – воскликнул Звойко в отчаянии.

– Что ты ее вывез, а его не нашел.

– Но ведь ты-то все знаешь!..

– Я знаю. Только мы с тобой вдвоем и знаем...

– Ты ведь ходил со мной в лес и видел, что он мертвый сидел в самолете!

– Всё-таки я на твоем месте все бы ей рассказал, – проговорил Устинович. – Ну, первое время она больна была, не стоило ей рассказывать. Но уже больше года прошло...

– Она до сих пор надеется. Ты сам знаешь.

– Но ведь надо же ей когда-нибудь сказать! Хочешь, я ей скажу?

– Не смеешь! – крикнул Звойко. – Ты обещал, что не скажешь, пока я жив!.. Так не скажешь?

– Ну, раз ты не хочешь...

Трудна любовь. Николай Корнеевич Чуковский chukovskiynikolai.ru  
Криницкий понял, что встреча Завойко с Устиновичем окончится мирно и что беспокоиться нечего. Стارаясь не шуметь, он повернулся и пошел прочь. Навстречу ему с запада подымалась темная туча, проглатывая звезды – одну за другой.

11

Ночью пошел дождь и лил не переставая весь следующий день.

Всю первую половину этого дня Криницкий просидел один в зарытой избе и писал очерк «Остающиеся на земле». О тех людях авиации, которые сами не летают, но без которых летчики не могли бы ни летать, ни сражаться. Об аэродромщиках, эксплуатационниках, мотористах, оружейниках, ремонтниках. О всех тех, про кого так часто забывают наши газеты, обычно прославляющие только непосредственных участников воздушных боев.

Он описал зарытую в земле прифронтовую деревушку, поход в лес за упавшим самолетом, нападение «мессершмиттов», маленькую ремонтную мастерскую, где из кучи перебитого хлама за несколько дней воссоздаются боевые машины. В вопросы техники он, разумеется, не углублялся, потому что не всякого читателя они интересовали, да и сам он был в них не силен. Он стремился показать, как люди относятся к своему делу. В очерке, естественно, нашлось место и для комсомольцев-зенитчиков, и для летчика, каждую ночь перелетающего через море на безоружном связном самолете, и для мечтателя-пропагандиста, пылко верящего в победу, в будущее и утверждающего, что мы живем на заре человеческой истории.

Криницкий писал о том, что видел вокруг себя, и потому ему казалось, что очерк у него получается живой, яркий. Задача, которую он перед собой поставил, казалась ему нужной и важной. Однако он не был убежден, что такой она покажется и редакции. Это так его беспокоило, что он позвонил на КП, и дежуривший там старший лейтенант Устинович, преодолев множество трудностей, соединил его по телефону с Ленинградом, с редактором. Криницкий старался говорить как можно убедительнее, но слышимость была неважная, аргументировать было трудно, и редактор, кажется, не заразился его пылом.

– Ну что ж, пишите, – ответил он. – Посмотрим.

Этот ответ несколько расхолодил Криницкого, но ненадолго. В конце концов, такой очерк можно послать и в центральные газеты. Там поймут, там уровень понимания повыше, и о людях прифронтового аэродрома прочтет вся страна. Увлечение его не пропало, и он опять засел за работу. Его не отвлекло от работы даже то, что редактор сказал в конце разговора:

– Между прочим, на ваше имя в редакцию пришли два письма. Я велел положить их на тумбочку возле вашей койки...

Это безусловно были те самые письма, которые он решил, не распечатав, отправить обратно. К его удивлению, он испытал странную радость, узнав, что они пришли. Он не отказался от своего решения, вовсе нет, он только подумал, что у него есть еще время обсудить с самим собой, как поступить. Может быть, он не эти письма отправит нераспечатанными, а следующие... Он работал, и мысль о том, что в редакции его ждут письма, доставляла ему непонятное удовольствие.

Шум дождя под землей не был слышен. Но потом вдруг начался обстрел. Взрывы перекатывались наверху из края в край, то приближаясь, то удаляясь, и пол под ногами у Криницкого тяжело вздрогивал. Когда снаряды ложились совсем близко, пыль сыпалась струйками на бумагу, на стол. Лампочка раскачивалась, свет мигал, горшки и чугуны в печке, оставшиеся от прежних хозяев, мрачно дребезжали.

Криницкий, увлеченный работой, сначала обращал на это мало внимания. Вскоре не обращать внимания стало уже невозможным.

Его снизу ударило стулом, на котором он сидел. Он вскочил и почувствовал, что пол дрожит и бьет его по подошвам. Снаряды рвались где-то совсем рядом, один за другим, и грохот их был как грохот океанского прибоя во время бури. Криницкий не очень испугался, так как понимал, что зарытая изба хорошо предохраняет его. Но в избе он был один, он не знал, что происходит, и поддался чувству одиночества и тревоги.

Ему захотелось услышать человеческий голос, и он опять подошел к телефону. Но

Трудна любовь. Николай Корнеевич Чуковский chukovskiynikolai.ru телефонная трубка мертвое молчала, и он понял, что провода перебиты. Он сел с ногами на вздрогивавшую койку и стал ждать, когда все это кончится, посыпаемый тонкими струйками песка с потолка.

Нет, такого обстрела при Криницком еще не было. Грохот не умолкал. Он только иногда откатывался куда-то в сторону, но затем опять приближался, оглушительный, как прежде.

И вдруг в короткий перерыв между двумя взрывами. Криницкому показалось, что стукнула дальняя входная дверь. Он не поверил этому, потому что слишком уж невероятно было, чтобы сейчас кто-нибудь мог ходить по аэродрому. Однако он сразу же услышал быстрые шаги, и внутренняя дверь избы распахнулась.

На пороге стояла Елена Андреевна в мокрой, грязной шинели, с забрызганым мокрой глиной лицом. Она быстро осматривалась, стремительно переводя глаза с предмета на предмет, и задержала взгляд на Криницком не дольше, чем на печке.

Потом она о чем-то спросила его, но в реве взрывов он не разобрал ее слов.

– Что? Что? – спросил он, вскочив, подбежав к ней и пристально глядя в ее лицо, которое становилось все более и более. Пятна грязи все отчетливее проступали на белизне щек, и глаза, обычно светлые, теперь казались темными и большими.

– Вы один?

– Один, – ответил Криницкий.

– И никто сюда не приходил?

– Никто не приходил с утра.

– Не с утра, а за последний час?

– Никто не приходил, – повторил Криницкий.

– И он не был?

– Кто? – спросил Криницкий.

– Григорий Осипович.

– Я вам говорю, что никто не был.

Она в изнеможении села на край койки и смотрела на Криницкого широкими от ужаса глазами. Даже губы у нее стали белые.

– Он шел из мастерской, когда обстрел был еще совсем слабый, и пошел сюда, а потом собирался в столовую.

– Откуда вы все это знаете?

– Я позвонила в мастерскую по телефону, и мне сказали. Потом я звонила еще много раз, но связь порвалась.

«Она любит его!» – подумал Криницкий и вдруг почувствовал, что рад этому открытию. Она прибежала сюда, забыв о себе, гонимая тревогой за инженера Завойко... Он и сам заразился ее тревогой.

– Нет, здесь его не было, – повторил Криницкий. – Где же он?

Она вскочила и кинулась к двери.

– Куда вы?

– Может быть, он пошел прямо в столовую...

Криницкий тоже вскочил и поймал ее за руку.

Трудна любовь. Николай Корнеевич Чуковский chukovskiynikolai.ru  
– да ведь это сумасшествие! – крикнул он. – Вы что, не слышите, что делается?..

Но она вывернулась и уже бежала вверх по проходу, и он понял, что ее не остановишь.

Он сел на койку, но просидел не больше секунды. Вскочив, он накинул шинель, надел фуражку и побежал за нею.

12

Он выбежал, чтобы остановить ее и вернуть. Но в ту минуту, как он очутился снаружи, обстрел вдруг оборвался. Вернее всего, сейчас все начнется снова. Однако вернуться в избу и сидеть там в одиночестве он был не в силах. Он решил догнать Елену Андреевну и добежать с ней до столовой.

Косой дождь бил в лицо. Ветер валил с ног. Мокрые листья крутились в воздухе, застилали всю землю. Елена Андреевна уже успела сильно опередить его. Нагнув голову, перескакивая через лужи, он торопливо зашагал по дороге вдоль леса. Сквозь стеклянные струи дождя он видел ее забрызганную глиной спину, ее топорщившуюся шинель и две медные пуговицы на хлястике. Она шла быстро, не оборачиваясь, и ему никак не удавалось догнать ее.

Они не прошли еще и половины пути, как обстрел возобновился. Первым же взрывом Криницкого встремнуло, оглушило, и он едва удержался на ногах. От растерянности он, вместо того чтобы сразу лечь, сделал попытку побежать вперед, но тут опять загремело где-то рядом, и он повалился в траву возле дороги. Он понял, что сделал отчаянную глупость, выйдя из избы. Гремело, ревело и выло вокруг. Он лежал ничком, стараясь занимать как можно меньше места, втянув голову в плечи, уткнувшись лицом в траву и закрыв глаза. Он лежал, но не мог забыть, что Елена Андреевна вот так же лежит в пятнадцати шагах от него, и время от времени приподымал лицо, чтобы взглянуть, цела ли она.

Черным комочком лежала она в траве у дороги. Внезапно ему подумалось, что она мертва. Он пополз к ней и вдруг заметил, что она тоже ползет. Под взрывами она упорно ползла вдоль дороги – все туда же, к столовой.

На мгновение она обернулась, и глаза их встретились. Одна сделала ему знак рукой, чтобы он не двигался. Но он продолжал ползти.

Тогда она вскочила и, низко пригнувшись, перебежала через дорогу, в лес. Там, среди облетающих мокрых кустов, она остановилась и опять обернулась.

Она стояла в лесу и что-то кричала ему изо всех сил, но за гулом и грохотом он не мог расслышать ни слова. Она махала рукой, и он понял, что она зовет его к себе в лес. Он не знал, зачем она его зовет, но послушно поднялся и побежал через дорогу. Упал и снова вскочил.

Она стояла и ждала его и не сдвинулась с места, пока он не добежал. Цепко ухватила она его за руку маленькой мокрой рукой и потащила за собою. Он покорно следил за нею, падал, когда падала она, вскакивал вместе с нею и бежал дальше. Деревья жутко раскачивались и трещали. В лесу было еще страшнее, каждый взрыв казался совсем близким, и он не понимал, куда она ведет его.

Вдруг на маленькой лесной прогалине он увидел нечто вроде не то блиндажа, не то землянки – укрытие из бревен и песка. Он ничего не успел рассмотреть, вход чернел перед ним, как пещера, и она втянула его в эту пещеру, вниз, за руку.

Ноги скользили и вязли в мокрой глине. Свет падал через отверстие входа, но в первую минуту казалось, что в укрытии темно. Кто-то там уже стоял в полураке. Двое. Поблескивала мокрая кожа реглана. Елена Андреевна вскрикнула, метнулась, вскинула руки, обняла Завойко за шею и прильнула к нему.

Она любила Завойко. И в эту минуту, измученная страхом за него, внезапно его нашедшая, счастливая, что видит его живым, забыла обо всем и выдала себя.

И опомнилась только тогда, когда, прижавшись щекой к груди Завойко, заметила краем глаза, что рядом с ним стоит политрук Чирков и смотрит на нее восхищенно и ласково.

Трудна любовь. Николай Корнеевич Чуковский chukovskiynikolai.ru  
Она мгновенно отскочила от Завойко и даже брезгливо заложила руки за спину. Лицо ее презрительно сморщилось, глаза сузились. Она кинула недобрый взгляд на Чиркова, отвернулась и стала смотреть наружу.

Они стояли вчетвером в тесном укрытии, а кругом гремело и гремело. Стволы деревьев переламывались со звонким треском, и вершины медленно падали, мягко шурша. Они не отрываясь смотрели в сторону света, через вход, но там ничего не было видно, кроме мечущихся на ветру кустов с уже редкими листьями, желтыми и красными, и с большими светлыми каплями на прутьях. В перерывах между взрывами слышен был шум дождя, сильный и ровный.

— Льет, — сказал Завойко. — Я вышел из мастерской — только крапало, а дошел до леса — полило как из ведра... Пришлось спрятаться...

В этих нелепых, неуклюжих словах он выразил все, что переполняло его, — и смущение, и счастье, что она беспокоилась о нем, и надежду, и страх перед нею, и всю многолетнюю нежность к ней.

Но она уже целиком была во власти раскаяния, что выдала себя.

— Так вы здесь спрятались от дождя! — воскликнула она, сразу переходя в тот недобрый, насмешливый тон, которым всегда с ним разговаривала. — Вот это мило!

Завойко беззащитно взглянул на нее.

Но она, словно подстегнутая, продолжала:

— У нас по крайней мере достаточно храбости, чтобы признаться, что мы спрятались от обстрела, а не от дождя. Правда, товарищ интендант?

— Так вы хотите сказать, что я струсил? — проговорил Завойко изменившимся голосом.

— Ничего я не хочу сказать. Я только говорю, что у храброго человека нет нужды скрывать, что он прячется в укрытии от обстрела, а не от дождя...

Не успела она договорить, как он, согнувшись, чтобы не удариться лбом о верхнюю перекладину входа, крупно шагнул вперед, в сторону света.

— Стойте! Куда вы! Да стойте же! — воскликнула она совсем другим голосом, полным испуга, тревоги, любви, раскаяния, и схватила его за кожаный пояс реглана, чтобы остановить.

Но он вырвался сильным движением. И вот он уже стоял снаружи, и из укрытия видны были только его ноги да полы кожаного реглана.

С отчаянным, странным, неправдоподобным криком она кинулась за ним.

И Криницкий сразу же прыгнул за нею.

Но на пороге грохот нового взрыва оглушил его, и плотная волна воздуха бросила его обратно. Криницкий повалился спиной на Чиркова, повалил его, и они забарахтались на липком полу, торопясь подняться.

Через полминуты они оба вышли из укрытия.

Инженер по ремонту лежал в траве во весь рост, обратив побелевшее лицо к небу. Дождь бил в его широко открытые немигающие глаза. Черная, густая кровь текла из-под плеча кожаного реглана, растекалась между травинок.

Елена Андреевна на коленях стояла перед ним в траве и бормотала что-то невнятное и все гладила и гладила его по лбу, по волосам, а кровь его текла ей под колени.

13

Дождь скоро кончился, ветер разогнал тучи. Солнце спускалось к западу по громадному, чисто вымытому куполу неба и так сверкало в каплях, висящих на каждой травинке, что невольно жмурились глаза. Осенний лес пыпал вокруг аэродрома, словно весь в разноцветных флагах, и непривычная тишина стояла над

Трудна любовь. Николай Корнеевич Чуковский chukovskiynikolai.ru всем холодно пламенеющим простором, потому что немцы перестали стрелять. Только фронт глухо и равномерно урчал за южным краем леса да птичи стаи, готовящиеся к отлету, вдруг застилали полнеба, как живая движущаяся сеть.

Потом зашло солнце, и закат угасал долго-долго, меняя цвета и постепенно бледнея. Уже давно выступили звезды, как большие светлые капли, и густая тьма клубилась над землей, а он все алел длинной узкой полоской над черными зубцами далеких елок. И только когда он уже потух совсем, и тьма над землей стала плотной и ровной, созвездья в небе выступили все целиком, до последней еле мерцающей звездочки, Криницкий отправился к самолету Терехина. Сегодня ночью Криницкий улетал в Ленинград, в свою редакцию.

Провожали Криницкого Чирков и Гожев. Они долго шли втроем по аэродрому, не видя друг друга в непроглядной тьме. Чирков был молчалив, угрюм и расстроен. Гожев, напротив, был приветлив и заботлив; он все боялся, что Криницкий озябнет в полете, и несколько раз спросил, надел ли он под китель фуфайку.

Терехин встретил Криницкого у самолета.

- Так летим, товарищ интендант? – спросил он.
- Ясно, летим, – ответил Криницкий.

Терехин помолчал, подумал и опять спросил:

- Вам сегодня нужно лететь?
- Конечно, сегодня, – ответил Криницкий. – А что?
- Да нет, ничего, – сказал Терехин. – Завойко обещал посмотреть самолет, да уже теперь не посмотрит... долетим, не беспокойтесь... Я просто привык, что Завойко всегда мой самолет смотрит...

Предстоящий полет этот как будто несколько беспокоил и Гожева. Впрочем, возможно, он не меньше тревожился всякий раз, когда выпускал Терехина в воздух.

- Ты сегодня над Кронштадтом не лети, – сказал он Терехину, стоя у самолета. – Они привыкли, что мы всегда норовим пройти над Кронштадтом, и стерегут там.
- Нет, зачем мне Кронштадт, – ответил Терехин. – Я сегодня пойду западнее, напрямик, над чистым морем.
- Ты выше, выше держи, а то они знают, что ты над самой водой ползешь.
- Буду сегодня держать повыше.

Криницкий уже сидел в самолете, за спиной Терехина, борта доходили ему до подмышек, плечи и голова торчали наружу. Техник, еле видимый, прыгал во тьме перед носом самолета, раскручивая винт.

- Подымите воротник шинели, интендант, – сказал Гожев из темноты. – Прилетайте к нам еще. В нашей дыре без гостей скучно...

Он помолчал с минуту. Потом, словно решившись, сказал Терехину совсем другим, груdnym голосом:

- Ну, давай... Счастливо...

Мотор загремел, завыл, самолет медленно развернулся против ветра, немилосердно подкидывая Криницкого, и побежал сквозь тьму. Того мгновения, когда они оторвались от летного поля, Криницкий не заметил, потому что земля была не видна. Ветер бил ему в лицо, мотор пел гулко и ровно, и он понял, что они уже летят.

Только тьма внизу, ни одного огонька, – второй год на земле не зажигали огней. Зато сверху и кругом горели яркие сентябрьские звезды, совсем близкие на вид, и так как звезды не перемещались вместе с самолетом, казалось, что самолет неподвижен. И все же Криницкий, несмотря на тьму, безошибочно отгадал, когда они

Трудна любовь. Николай Корнеевич Чуковский chukovskiynikolai.ru пересекли береговую черту и полетели над водой; конечно, воды он не видел, но как бы оттенок тьмы внизу изменился.

Озираясь, вглядываясь в края звездного купола, он в разных концах, далеко-далеко, замечал между звездами размытые багряные пятна. Это были зарева, отражения в небе дальних пожаров, вечно пылавших вдоль фронта. Он летел через Финский залив осенью 1942 года, когда исполненная линия фронта, причудливо петляя, пересекала весь европейский материк, от Ледовитого океана до гор Кавказа, до Черного моря. Это был тот напряженнейший период великой борьбы, когда борющиеся силы достигли временного равновесия. Немцы еще упрямо рвались вперед, но натыкались на непреодолимое сопротивление и нигде не могли продвинуться ни на шаг. Мы уже готовились к ответному удару, который должен был смести все и решить все. Но сокрушающий удар этот был еще весь впереди. И в ту безлунную сентябрьскую ночь, когда военный журналист Криницкий летел через темное море на маленьком открытом связном самолете, сидя за спиной летчика Терехина, ничего еще не было решено и ничего еще не было известно.

Он летел уже минут двадцать, жмурясь от плотного встречного ветра, и стал уже не на шутку зябнуть, и думал уже о том, что ждет его на другом берегу – удастся ли ему обогреться в землянке, выпить горячего чаю, найти попутную машину в город, – как вдруг привычный ровный гул мотора оборвался.

Криницкий не сразу понял, что случилось, – так необычайна была внезапно наступившая тишина.

Ветер, только что с силой бивший ему в лицо, прекратился. И Криницкий почувствовал другой ветер – сбоку, не тот, который вызывался движением самолета, а тот, настоящий, который свободно веял над морем.

И тут только дошло до его сознания, что мотор заглох, что они больше никуда не летят, а, медленно опускаясь, висят среди звезд над темной водой.

Внизу ничего не было видно, кроме тьмы, и определить, далеко ли до воды, Криницкий не мог. Но он твердо знал, что там вода, осенняя, холодная, и что она ждет их.

Терехин делал отчаянные усилия, чтобы запустить мотор, – Криницкий видел это по его движущимся плечам. Но мотор упорно молчал, и Терехину, несомненно, уже самому было ясно, что запустить его не удастся. Самолет шел все вниз, вниз.

Это была гибель, смерть.

И только поверить в это было трудно, потому что удивительно погибать в такой тишине, при таком величавом сиянии звезд.

Но Криницкий все понимал отлично и нисколько себя не обманывал. Мысль о неизбежной смерти не особенно испугала его. В ту минуту не самая смерть казалась ему страшной, а неминуемое барахтанье в холодной воде перед смертью. Рассчитывать не на что. Чем меньше он будет барахтаться, тем лучше.

Плечи Терехина продолжали двигаться, он упорно работал штурвалом, стараясь заставить самолет планировать как можно дальше. Глядя сзади на его круглую голову в шлеме, неясно вырисовывавшуюся среди звезд, Криницкий думал о том, что их обоих ждет общая участь, и вдруг испытал к нему жгучую нежность. Он вспомнил, как Терехин бродил вокруг землянки продчасти, как он собирал голубику для Елены Андреевны. Странно, что человек, полный такой живой любви, сейчас умрет.

Криницкий не знал, какое расстояние отделяет их от воды – десятки метров или сотни. Но это уже безразлично – на несколько минут раньше, на несколько минут позже... Очерк «Остающиеся на земле», лежащий в планшете, никогда не будет напечатан. Никогда Криницкий не узнает, чем кончится осада Ленинграда и та битва на Волге, о которой так упорно и так скромно сообщают сводки. Никогда он не увидит предстоящей победы...

И вдруг он заметил какие-то легкие тени, которые, проносясь мимо самолета, закрывали то одну звезду, то другую. Они двигались совсем близко, рядом, и одна из них даже слегка задела его по щеке чем-то мягким, теплым.. По этому прикосновению он догадался – птицы! Птичья стая, летя через море на юг, прошла

Трудна любовь. Николай Корнеевич Чуковский [chukovskiynikolai.ru](http://chukovskiynikolai.ru) мимо медленно опускающегося самолета, и Криницкий почувствовал нежность к птицам, теплым, живым, которых он тоже никогда уже больше не увидит. И благодарность за то, что одна из них коснулась его крылом.

Никогда он не узнает, что написано в тех письмах, которые ждут его в редакции, никогда ему не придется решать, отвечать на них или нет. Он подумал о жене с той же нежностью, с какой только что думал о Терехине, о птицах. Он любил жену и чувствовал к ней глубокую благодарность за то, что любил ее.

Трудна любовь.

Трудна борьба, трудна победа, трудна любовь, но чем труднее, тем дороже. В эту страшную минуту, убежденный, что все для него кончено, он чувствовал благодарность за то, что жил среди людей в великое время, любил их, видел, как они любят, страдал вместе с ними, мечтал вместе с ними и боролся за их мечту...

далеко внизу, в темноте, впереди и несколько справа по ходу самолета, опытный взор мог бы различить темное пятно, еле приметное, которое казалось еще чернее окружающей тьмы. Оно медленно подползло под самолет, постепенно расширяясь. И трудно было определить, что случится раньше – самолет ли опустится в воду или черное пятно подползет под него.

то был западный пустынный мыс длинного острова Котлина, того самого, на восточном краю которого лежит Кронштадт. Терехин уже давно угадал этот мыс и, пока Криницкий, сидевший у него за спиной, молчаливо прощался со вселенной, тянул и тянул к нему свой опускающийся самолет.

Они прошли на высоте одного метра над вялым прибоем и сели на хрустящую гальку у самой воды. Криницкий первый вылез из самолета и сразу же лег ничком на землю. Веря и не веря, щупал он обеими ладонями мокрый, холодный песок. А Терехин сказал ему сверху, из кабины, ликующим голосом:

– Я знал: не дотяну – не увижу больше Елены Андреевны. И вот – дотянул!..

Он спрыгнул вниз и прибавил:

– Пойдемте искать живых людей. Нужно же доложиться...

1959 г.

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке  
<http://chukovskiynikolai.ru/> Приятного чтения!

<http://buckshee.petimer.ru/> Форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.

<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин

<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, Хостинг.

<http://filosoff.org/> философия, философы мира, философские течения. Биография

<http://dostoevskiyfyodor.ru/>

сайт <http://petimer.com/> Приятного чтения!